

Юз
Алешковский

Собрание
сочинений
в шести
томах

Т.2

PocketBook



Юз Алешковский

**Собрание сочинений
в шести томах. Том 2**

«Издательские решения»

Алешковский Ю.

Собрание сочинений в шести томах. Том 2 / Ю. Алешковский —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-837082-3

Во второй том собрания сочинений вошли повесть «Синенький скромный платочек», «Книга последних слов» и «Сочинение на свободную тему». Лев Лосев: «Больше всего я люблю „Синенький скромный платочек“ (1982). Помню, как начал читать в первый раз и почти сразу перешел на чтение вслух — невозможно было отказать языку, гортани в таком празднике». ...И написал автору: «Я начал читать, и мне очень понравился тон и необыкновенное мастерство языка...».

ISBN 978-5-44-837082-3

© Алешковский Ю.
© Издательские решения

Содержание

Аннотация	6
Синенький скромный платочек	7
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Собрание сочинений в шести томах

Том 2

Юз Алешковский

© Юз Алешковский, 2017

© Александр Дунаенко, дизайн обложки, 2017

ISBN 978-5-4483-7082-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Аннотация

Лев Лосев: «Больше всего я люблю „Синенький скромный платочек“ (1982). Помню, как начал читать в первый раз и почти сразу перешел на чтение вслух – невозможно было отказать языку, гортани в таком празднике.» ...И написал автору: «Я начал читать, и мне очень понравился тон и необыкновенное мастерство языка... exhibOrange образов, красок, характерных выражений, которая вас опьяняет и увлекает. Много лишнего, несоразмерного, но verge и тон удивительны». Нет, это не я написал Алешковскому, это мой тезка, Лев Николаевич Толстой, написал Николаю Семеновичу Лескову. Цитату я выбрал из статьи Эйхенбаума о Лескове («Чрезмерный писатель»). В этой статье развивается важный тезис о неотделимости литературного процесса от общеинтеллектуального, в первую очередь от развития философской и филологической мысли. Новое знание о природе языка и мышления открывает новые перспективы воображению художника, а по ходу дела соз— даются и новые правила игры. В середине двадцатого века распространилось учение о диалогизме, иерархии «чужого слова» у Алешковского становятся чистой поэзией. В «Платочке» смешиваются экзистенциальное отчаяние и бытовой фарс, и результат реакции – взрыв. Подобным образом в трагическом Прологе к «Поэме без героя» проступает «чужое слово» самой смешной русской комедии: ...А так как мне бумаги не хватило, Я на твоём пишу черновике. И вот чужое слово проступает...

Синенький скромный платочек Скорбная повесть

Памяти матери, отца и брата

Гражданин генсек, маршал, брезидент Прежнев Юрий Андропович!

К вам регулярно в течение двух лет обращается Байкин Леонид Ильич с криком чистосердечного признания и с просьбами о восстановлении справедливости, то есть лично я, обросший ложью с головы до ног и провонявший страхом, как солдатская портянка периода окружения.

Ни ответа, как говорится, ни приветов не имею, хотя лечащий враг, вот именно не врач, не доктор, но враг не отказывает мне лично в бумаге и говорит:

– Пиши, Байкин, пиши, но не буянь. Читать интересно эту абракадабру. С тобой не соскучишься. Я, – говорит, докторскую скоро защищу по письмам твоим и по истории твоей болезни. Но этого письма-заявления Втупякину не видать! Не видать! Знайте же: никакой я не Байкин Леонид Ильич, а Вдо-вушкин Петр, отчество забыл в наказание самому себе за давностью лет. В этом месте слезы капаят из глаз моих бесстыжих, обвожу ихние следы неровными кружочками в соответствии с формой клякс. Плачу, но перехожу к делу, потому что бумаги мало. На истории болезни Карла Маркса пишу ввиду ротозейства проклятого оборотня Втупякина. Третьего дня созвали нас на конференцию безумных читателей. Силком собрал, от телевизора оторвал – лишением папирос-сигарет пригрозил. – Вы, – говорит, – сволочи с манией преследования величия хлеб казенный тут жрете, советскую власть на худшими помоями обливаете, на путь выздоровления от диссидентства вставать не желаете, но про «Малую землю» и слышать не хотите!

Вот и я хочу начать свое откровенное признание с того, что никакой Малой земли на земле нету. Есть одна большая земля. Малая же земля – это луна, которая вызывает приливы крови к голове моей и соответственно отливы мочи сами знаете от чего.

Я воевал на земле, грешно жил на ней, натворил черт знает каких затей и всегда считал луну землею малой.

Луну же в один прекрасный момент оккупировали американцы, в результате чего мы были вынуждены высадиться в Афганистане. Так втолковывал нам на конференции, после читки вслух «Малой земли», Втупякин.

Название вашенской книги надо переделать в интересах правды и назвать ее «Луна». Если же назвать «Большая луна», то это несправедливо будет, вроде «Малой земли».

Ну, мы, конечно, вопросы задавали Втупякину насчет того, кто пишет за вас эти книги. Втупякин заявил, что, пока не сломлен империализм и внутренние диссиденты, ответ на такой вопрос является государственной партийной тайной, но что Ленинскую премию за литературу поделят поровну между временно неизвестными писателями, наподобие того, как ее делят между космическими конструкторами и делателями атомных бомб. А потом придет время и неизвестные писатели станут известными, чтобы народ наш узнал своих героев... Узнал бы! Узнал!

Тут я опять плачу невыносимо, потому что солдат-то неизвестный не я на самом деле, Вдовушкин Петр, а Байкин Леонид Ильич, и славы его всенародной не желаю, не хочу, настаиваю и протестую.

Жизнь прожита зря. Пора подводить итоги, маршал. Сдерживая слезы, перехожу к самым что ни на есть обстоятельствам Второй мировой войны, но временно передаю перо Владимиру Ильичу, отлученному главврачом дурдома Втупякиным от чистой бумаги. Его-то за что держат

тут? Ведь если б не он, то вся ваша шобла землю пахала, у станков стояла, делом занималась бы, а не развалом сельского хозяйства. Сосед по койке в корень смотрит. Передаю перо. Сам иду курить, чтобы сузить сосуды и слезы сдержать.

*Товарищ генсек! Товарищи члены политбюро! Прошу срочно собрать экстренное заседание и разобрать чрезвычайное дело Вдовушкина Петра. Архинелено не доверяют в наше время признанию изолгавшегося негодяя. Товарищ Вдовушкин, находясь с 22 июня 1941 года в рядах Красной Армии, пытался скрыть сыновнее родство с расстрелянным врагом народа ярлым кронштадтцем Вдовушкиным (sic!). С этой целью **Вдовушкин-сын** (курсив мой. – В.Л.) в смертельном бою обменял свои документы на документы Байкина Леонида Ильича. Эрнст Мах может краснеть, ибо народ метко заклеил подобные штучки чудеснейшим глаголом «махнуться».*

Священный долг коммунистов не только поддержать тов. Вдовушкина, но и организовать решительное наступление на стратегические и сырьевые интересы США во всех важнейших регионах мира (см. посланные мною еще в июне на изнанке молочного пакета январские тезисы). Только тупицы из шайки Маха – Авенариуса не могут понять, что закопанный в первичное, эрго, в материю, неизвестный солдат является Байкиным Леонидом Ильичом, а находившийся в идеалистическом состоянии Вдовушкин Петр – сын злейшего кронштадтца и тред-юниониста Вдовушкина-старшего.

*Смерти подобно ослабление нашей титанической борьбы с мировым общественным мнением – этим гнусным служакой империализма. Оно (общественное мнение, прим. верно. – В.Л.) якобы обоснованно (см. мою докладную записку XIV съезду. – В.Л.) считает нашу поддержку нац. осе. движения всего-навсего стратегически хитрой мотивировкой, фактически **фиговым листком** (курсив мой. – В.Л.), прикрывающим гегемонистские неоимперские цели родины социализма. Передайте большевистское мерси советским композиторам за их нечеловеческую музыку. После нее хочется бить по головкам и левых, и правых, и центристов. Всех! Должен признаться, что чтение вашей трилогии обнадежило меня в том, что мы придем к победе коммунистического труда в литературе над трудом одиночек, этих беспартийных снобов, окончательно погрязших в болоте так называемого самовыражения.*

Пусть ЦК обратит внимание на то, что я фактически лишен писчей бумаги, а переписка с политбюро на истории болезни Карла Маркса – вопиющий нонсенс. Чувствую себя хорошо. Питание преотвратнейшее. Хочется временами чего-нибудь вкусенького. Пора завоевывать Общий рынок его несметными продзапасами. Жду свидания с Наденькой. Вот выпущу и доспорим с путаником Суловым относительно опасности обуржуазивания партбюрократии совноменклатуры. С комприветиком. Вл. Ульянов (Ленин).

P.S. Все разговорчики о моей мании величия не что иное, как происки господ отзовистов и часть плана ликвидации нашей партии.

P.S.S. Электрон практически неисчерпаем.

P.S.S.S. Надеюсь, что решение политбюро о тов. Вдовушкине будет положительным, поскольку советские профсоюзы – школа коммунизма.

Ваши Вл. Ленин (Ульянов)

Вот, маршал, и покурил солдат Вдовушкин. В сортире чего только не слушаешься. Сразу тянет хохотать, а не плакать – слезы лить – о погибшей понапрасну жизни. В блоке нашем имеется пара душ диссидентов. Втупякин их называет по-медицински чокнутыми циниками. Непонятно это, маршал. Непонятно. Люди все правильно говорят, все до правдивости подчеркивают, от себя ни слова не прибавляют, а их – в дурдом! Я своим крестьянским умом мало чего в социальной жизни понимаю. Но я вижу простым незамутненным оком, что колхозы – говно и хуже крепостного строя в тыщу раз, а рабочий – раб, малооплачиваемый и пьющий вусмерть. Что, вы сами, что ли, не видите? А верить в Бога почему людям не велите? Верно люди говорят, что только в старом Риме христианам было хуже, чем сейчас. Человек на Пасху

в церкву пошел, а его легавые мало того, что не пустили, но и еще бока, сволочи, намяли, и безумцем объявили, чтобы право отбить жаловаться прокурору на инвалидные побои со стороны милиции. Какое уж тут право человеческое? У собаки и то больше человеческих прав, чем у людей. Она хоть лает и куснует в случае чего может. Мы же – терпи и не гавкай, не то в дурдом – под электрошок, инсулин и проклятую химию!

А ведь диссиденты все вежливые, культурные и внимательные, с Втупякиным в спор не вступают из-за поганой пищи и прочих многочисленных мытарств. Душевные они люди, маршал, и народ свой русский любят, еврейский, татарский, украинский, армянский и литовский не меньше вашего. Вот могли ведь сейчас в сортире Ленина поколотить, а не поколотили. Ведь он приходит и говорит:

– Поставлю вопрос об экспроприации сигарет у врагов коммунизма и революции! Курение, – говорит, – это никотин для народа!

Ну, Карл Маркс и набросился на Владимира Ильича с пеной на губах.

Еле Ильича отняли у Карлы. Его-то за что держат тут? А главное, бороду ему Втупякин не разрешает отращивать. Ты, говорит, вовсе не молодой Маркс, а проходимец, кассу обокрал, основоположником теперь прикидываешься! Не положена тебе борода никогда!

А я так считаю: поскольку человек без бороды не похож, конечно, на Карла Маркса, то надо разрешить ему отращивать бороду, а уж потом глядеть, кто он есть на самом деле. Может, он даже не Карл Маркс, а Энгельс или какой-нибудь Лев Толстой. Неужели, маршал, непонятно это?

Я вот пишу, а когда слезы душат, историю Марксовой болезни читаю. Никакая это не болезнь. Верно все человек говорит, верно. Ни в коем случае нельзя в наше время пролетариям соединяться. У нас-то ведь в семнадцатом соединились они – тут всем и крышка пришла. Прихлопнули их Ленин со Сталиным вместе с ихней диктатурой, как зайцев, и теперь, как говорится, ни бзднуть, ни пернуть измученной душе.

Перехожу, однако, к своему делу. Как сейчас помню, башка на части рвется, душа в пятки ушла, что делать – не знаем никто, снаряды с минами рвутся, пули вжикают, вверху рев, с боков крики, стоны, каша кровавая, только рядом человек был, старшина, смотрю – голова евонная в каске лежит, как бы в миске глубокой, и ухмыляется, глаза на меня снизу вверх так и тарашит, а где сам – неизвестно. Не видать ничего в дыму. Где фронт? Где тыл? Где фланги? Ничего не видать. Только комиссар орет: «За Родину! За Сталина, сволочи, за власть Советов!» А я бы и рад, может, за Родину помереть, всем миром все же помирили, но за Сталина помирать – было в душе такое мнение – ни за что не хотелось. Плевал я на него сколько себя помню. Разве же не сумасшедшее это дело помирать за кровопийцу, который родителей твоих расстрелял и тебя самого чуть не извел, спасибо бабка в деревню увезла?... потом к тому же землю отнял, в колхоз загнал, жилы все из нас вытянул, с Гитлером дружбу завел. Мало того, что завел, скотину нашу на ливерную колбасу к нему погнал. Мы же девятый хер без соли доедали, простите, маршал, за выражение.

Так вот, как услышу «за Родину», так вперед меня тянет, врукопашную, страха нету ни в пятках, ни в душе. Как добавит комиссар «за Сталина», так словно кто подножку мне ставит и заворачивает силком в другую, значит, от врага сторону. И со многими солдатами, по-моему, то же самое происходило. Почему бы мы тогда отступали и отступили по самую Москву? Только по этой причине. Других, по моим прикидкам, не было. Никакая сила, маршал, не помешает солдату помереть за Родину. Верно?

А комиссаров у нас сменилось за месяц с начала войны – тьма. Им же велено было выбегать, «за Родину, за Сталина» орать. Вот они и выбегали поначалу и орали. Тут их и подстреливали, безголовых, или в плен брали, потому что летят они сломя голову с «ТТ» в руках, а солдаты – на сто восемьдесят градусов и снова ничком в окоп, колени в подбородки вжимать, Богу молиться о спасении от муки смертной. Тогда приказ Сталин дал – чуял, сволочь, что

солдат помирать за него не хочет, – забегать комиссарам не вперед, а назад, в тыл солдатам, и шпокать без сомнения в лоб каждого отступающего. Тут комиссары пуше прежнего вопить стали «за Родину, за Сталина». Глотки-то у них с семнадцатого года луженые, и главное дело – орать то одну пустобрешину, то иную.

Что делать солдату? Гитлер на него танками прет, бомбы сверху на него сыплет, пулями свет Божий прошел, нету мочи сопротивляться. С тылу же комиссар гонит тебя, клонит, как травиночку, под косящую косу мосластой шкеле-тины, смерти то есть. Что солдату делать? Ежели помереть в два счета – а это проще простого, – что с Родиной станет? Может, Сталин с Гитлером столковались, чтоб извести нас всех с лица земли, зажали с двух концов – спереди танки-минометы, сзади комиссары. Правда, к каждому солдату комиссара не приста-вишь. Народу больше было, слава Богу, чем ихнего горластого брата. И это решило судьбу войны. Сминал солдат комиссара, назад откатывался, отступал, так сказать, жизнь спасая для будущего боя, и зло лишь брало, что сталинскую рябую усатую харю спасал тем самым вместе с Родиной.

Ладно, думалось, при, фюрер, при, зараза волчья, прите, крысы фашизма. Заманим мы вас по-кутузовски в конце концов в такую крысоловку, что кровью похаркаете почище, чем мы харкаем сейчас.

Победили мы? Победили. Сам солдат победил, гражданин генсек, а не ваши комиссарские глотки. Солдат победил всенародный, и я – русский Иван в том числе, а не вы – маршал-генералиссимус с золотой сабелькой и тремя «героями». Стыдно. Стыдно, генсек.

Ох, как зарыдал я тогда от стыда неимоверного, невыносимого, самой смерти страшной который, как я тогда, Господи, зарыдал. Век не забуду.

Помните, генсек? Никиту вы скинули, сами к креслу приросли и, разумеется, постепенно зажрались. А своре вашей только того и надо. Облизывать вас принялись, бесстыжие, на глазах всего честного народа. Одну звездочку геройскую дали, затем вторую. Затем сабельку золотую на белых партийных рученьках поднесли. Вы ее приняли с важным видом. Затем маршала вломили вам. Бриллианты на шею повесили, словно царю-батюшке, а вы и бровями не пошевелили. Не проснулась в вас совесть, не обмерла от нахальства душа, не сказали вы своим жополизам с серьезными партийными лицами: «Буде, братцы. Вы уж... тово... перегнули слегка».

Не сказали, не взяли сабельку золотую и все ваши дармовые звезды с бриллиантами, не отнесли их к Кремлевской стене на могилу Неизвестного солдата, не положили на красный мрамор рядом с синим огнем и не извинились перед безмолвным навек прахом следующим образом:

– Прости, солдат. Прости. От души говорю. Зажрался. С вождями это бывает. Твое это все – золото, бриллианты, сабли, ордена, медали, – прости. Может, не погибни, сидел бы ты сейчас на моем месте, а я лежал бы себе тут в покое и тишине исполненного долга. Никакой я, конечно, судьбы войны не решил, будучи кадровым комиссаром, а лишь печать ставил на партбилеты после боя и выжившим их вручал, священнодействуя как бы. И не был я, солдат, душою новороссийской операции. Прости. Но и пойми, не может народ без чего-либо такого, что напоминает ему царя-батюшку, чтобы хоть повздыхал народ, избывая тоску свою с семнадцатого года, глядя на грудь богатырскую маршальскую, орденами увешанную. Народ, он что ребенок: если батька помер, отчима ему подавай. Не для себя лично вешаем мы на мундиры все эти погремушки-побрякушки, поверь, а исключительно для народа, для веселия его душевного и развлекательности зрения. Так что прости, солдат. Царство тебе Небесное!

Сделали вы так, генсек? Сказали вы так, маршал? Нет! А я сказал и сделал.

Гляжу на вас тогда по телику и чую вдруг: белеет лицо мое, не краснеет, а именно белеет от смертельного стыда, растерзавшего разрывной пулей совесть и душу. Боже мой. Что я наделал? Как я жил?... Рыдания враз затрясли меня почище инсулинового шока...

Бегу, не в силах жить на земле в прежнем образе, прямо на могилку Неизвестного солдата, то есть самого себя, вернее, Вдовушкина Петра, но в конечном счете Байкина Леонида Ильича, каковым и числюсь по истории болезни, приписанной мне Втупякиным – кандидатом сумасшедших наук.

Разъяснения потом. Все разъяснения потом, ибо, сдерживая слезы, стараюсь изложить неизменное и главное.

Прибегаю, реву не в голос, по-бабы, а внутри, и стенаю так, что ребрышко каждое холодной болью продувается, и чую некоторую предпоследнюю опустелость, нечто вроде смерти, одним словом. Падаю на колени перед негасимым огнем с розовым венчиком от дождя осеннего, морозящего, падаю, ударяюсь о мраморный гранит кающим лбом и стенаю:

– Леня! Все сделаю. Все. Ты тут будешь лежать, а не я. Прости. Не надо мне славы твоей посмертной. Я ведь думал, что живой – я, а ты – мертвый, но все теперь наоборот. Прости... Исправлю такое положение. Незамедлительно исправлю. Все на свои места встанет. Жизнь доживу вполне откровенно, а у тебя времени – до Страшного Суда, перед которым могу предстать хоть сейчас, ибо отдаленность его для меня пытка. Пытка. Прости, Леня!

Лечу, словно птица на одном крыле, обратно домой. Беру фанеры лист. Палку к нему прибиваю. Пишу на фанере чернильным карандашом, как на посылках в деревню временами:

ЗДЕСЬ НАВЕКИ ЗАХОРОНЕН ИЗВЕСТНЫЙ РЯДОВОЙ СОЛДАТ Л. И. БАЙКИН.

«Погиб смертью храбрых» не стал я писать, так как это было бы неправдой. Не было ни в нем тогда, ни во мне никакой храбрости, а лишь страсть была спасти солдатские наши, нужные Родине жизни от непростительной, дураковатой смерти, на которую, маршал, жестоко и подло обрекли нас Гитлер со своим дружкой Сталиным.

Несу плакат на могилу, несую с легкостью необыкновенной, хотя корчусь от въевшегося в душу стыда... Дождь льет. Ветер под дых колошматит, плакат из рук выбивает и вырывает...

Вбиваю его булыгой случайной с правой стороны могилы в землю. Крест пририсовываю наш православный над фамилией и говорю:

– Хватит, Леня. Будь ты Байкиным теперь самим собою, а я принимаю прежнее истинное свое имя Вдовушкина Петра. Прости.

С этими словами ухожу... Дома радуюсь, ну прямо как мальчик. Чист! Чист! Главное – чист, а все остальное приложится: и возмездие за злодейство многолетнее, и пользование чужой славой в корыстных целях, и так далее, и все такое прочее...

Хлобыстнул самогонки. Откуда у отечественного инвалида деньги на водку, маршал? Нас каждый Божий день не зовут в Кремлевский дворец жрать «столицу» и балычком ее же занюхивать. Мы самогонку гоним. И на том спасибо...

Весело мне, одним словом, в комнатенке моей бобылевской. Соседи дрыхнут – на работу им завтра. А если и разбудил я их пьяной, ранней и радостной своей песней, то попробуй сделай мне в такой момент замечание. Боже упаси! Протезом враз отколошмачу.

Всю ночь пою, надрываюсь «...идет война народная, священная война... 22 июня ровно в четыре часа... синенький скромный платочек падал с опущенных плеч... и у детской кроватки тайком ты слезу вытираешь...»

Пою и плачу, как вот сейчас. Но сейчас нету радости в моей душе и просвета искупления. Лишь гнев в ней, маршал, один гнев и обида на допущенные издевательства над телом и совестью инвалида... Но ладно...

Сижу, значит, пою, видение лица жены моей законной – Нюшки, Настеньки, Анастасии – усилием воли своей, покалеченной жизнью, прогоняю. Протез снял. Культия блаженно от него отдыхает. А сама нога моя правая, знаете где, маршал? В могиле на площади Революции, рядышком с костями известного на самом деле солдата, а не неизвестного, рядом с Байковым Леонидом Ильичом, другом моим боевым, верней, рядом с тем, что от него осталось... Плачу и пою – собака, одинокая и затравленная наконец-то мстительной судьбой...

И то ли примечталось, то ли приснилось, но явственно вижу себя на поле того последнего моего боя, волокущего по грязище, по разводу осеннему Леню, друга моего, который начисто потерял от ужаса, унижения отступления, от заброшенности нашей солдатской желание продолжать жизнь. Потерял – и все.

Но во мне-то тогда силенок было, маршал, на две-три жизни. Семижильный был парень, с руками, с ногами, с рожей веселой, с головой не тупой, с добрым сердцем – нормальный, одним словом, русский человек, не до конца еще припохабленный советской крысиной властью...

Ад дьявольский по сравнению с тем полем боя домом отдыха, думается мне, был... На взрывы всякие, крики, стоны, пули, осколков свист, штурмовиков вой я уж внимания не обращал. Ибо такая запредельная тоска пронизывала мою душу оттого, что ползти мы по растерзанному, неубранному полю побитой, вытоптанной, втоптанной в прах земли, выжженной ржи, что, кроме тощицы этой и настырной силы, внушенной свыше, ничего во мне не было. Ничего.

– Леня, – хриплю яростно, – Леня, Бога побойся, пошевели ноженьками и рученьками, пошевели, не то не выползем мы, даже в плен не возьмут нас – такие жалкие мы и страшные, не бойсь, ползи, родной, спастись надо, а то кому же гнать обратно с поля нашего ржаного гадостное это воронье, фюреровские усики, сталинскую рожу рябую, пожалей, Леня, себя и меня...

Немного осталось нам до низинки, до деревьев, измочаленных жутким железом... От танка спаслись. Прямо на нас пер. Окопчик нас спас. Танк дальше, в плоть земли нашей поперся, и вонища от него была, как от первого моего в жизни трактора. Как сейчас помню. Приятная такая дизельная вонища... Ужас вокруг, а душу захолонуло от страсти по мирному труду на крестьянском поле...

Окопчик от танка нас спас, но он же Леню и погубил?

Я уж думал: все – спасены... темнеет... до низинки дотянем, а там уж у пенька какого-нибудь прикорнем... черт с нею, с едой... сон важнее человеку любой еды... суток трое мы уже не спали... за что, Господи, такие дадены нам Тобою муки ужасные?

В этот-то момент и рвануло-шарахнуло до полного оглушения. Даже не знаю: успел я услышать сам взрыв или не успел... Неважно.

Отряхнулся от земли, промаргиваюсь, дыхание налаживаю. Жив я – окаянный. Леня, мой друг, лежит рядышком, словно спит – глаза закрыты, на губах улыбка ребеночка. Потормошил я его слегка, а тормозить-то было нечего. Каша одна с костями от Лени осталась. Лицо лишь не тронуту. Весь взрыв на Леню пришелся. Тем и спасен я был, но непоправимо ранен. Лежу я поначалу и не ведаю: то ли жалеть друга, то ли радоваться за него. Не знает в такие времена человек, что лучше. Но живым жить нужно.

Дрыгнул одной ногой – на месте. Дрыгнул второй – нету у меня второй ноги. Ясно это, причем без всякой в первые минуты боли. Мог бы ведь безболезненно уснуть и кровью во сне истечь до смерти. А почему боли не было, пускай Втупякин думает, на то он и кандидат наук. Может, еще тогда весь мозг от взрыва раком поставило. Не знаю, маршал.

Тянусь рукой к бедной ноге, неужели, думаю, по самую жопу отхватило, тогда хана... Но – нет. До коленки дотянулся – счастьем меня просто пронзило: цела коленка. Цела, Господи, спасибо Тебе за муки и спасение с частичными потерями.

Пальца на три ниже колена отрыв пришелся. Накладываю жгут, останавливаю кровь – брезентовый ремешок пригодился. Городской человек на моем месте сразу же или немного погода дуба врезал бы, а я – человек крестьянский – губа не дура, мудер был с малолетства. Сам противогаз, как только обмундировали нас, выкинул я к едрене фене, а сумку набил жизненно важными причиндалами. Бинты. Махорка. Чай. Соль. Йод. Сухариков, правда, не осталось

в сумке. Рубанули мы их с Леней... Ну и прочая мелкая штукovina была там, вроде ножа, ложки... неважно, впрочем, все это, маршал...

Обрабатываю культю йодом... Онемела культя от жгута. Не чую боли. Йод не щиплет, совсем как вода... Может, контузило так, что шибанулся я? Страшна, маршал, боль, но и без боли в таком происшествии тоже жутковато... Перевязал. Весь бинт на культю ушел. Что голова вся в крови – это я уже не говорю. Это пустяковина.

В глазах черно, между прочим, ночь в глазах, но не придаю я этому значения. А в ушах – тишина. Но бой идет. Чую лишь по сотрясению почвы... Беспмятство вдруг осенило меня, а может, кровящи потерял много и от этого внезапно испекся... Не знаю, сколько времени так прошло...

Очухиваюсь... Фу ты... Есть в глазах свет, в ушах звук, слава Тебе, Господи. Хотя понимаю, что действуют глаза мои и уши не в полную мощь. А были они у меня, на удивление, как у собаки, кошки и птицы. Неважно. Лишь бы, думаю, духом не изойти до конца.

Бой, кстати, все еще идет... Медсестер не видать нигде... Поубивало небось сестричек, перебило деточек бедных... Сколько времени, непонятно...

Танки немецкие вроде бы назад откатились. Это я из окопчика зыркаю. Каску Ленину надел. Моя осколками пробита. Но спасла, однако, спасла...

Контратака наша бесполезная, смотрю, пошла. Понимаю, что чуют солдаты гибельную опасность такого боя, всю зрящность его чуют, нету в них духовитости ни на грамм. Какая уж тут духовитость? Одно лишь покорное уныние.

Но Втупякин-то прет – комиссарище – сзади, «За Родину! За Сталина!» орет. На верную смерть сволочь глупая и тупая, думаю, гонит солдатиков. На верную. На стопроцентную.

Косит фашист солдат, просто аккуратно косит, ибо окопаться успел как следует. Зачем ему своя атака, если Втупякин гонит солдатиков, как скот на советский мясокомбинат, прямо на вражьи пулеметы и минометы?

Боже мой, сколь их на глазах моих полегло...

Вот завернул, согнувшись в три погибели, один солдатик обратно. Втупякин сходу – пулю в лоб... Еще двое завернули. И их выводит в расход Втупякин. С тылу солдатского сподручно ему это. Вот гадина. Спереди немец косит солдатиков, сзади Втупякин бьет в лоб.

Беру, не раздумывая, винтовку свою, номер вот забыл, вскидываю и, спасая от смерти брата своего – солдата, шпокаю Втупякина в спину евонную, портупеей комиссарской перехваченную. Падает с копыт.

Солдаты, вся цепь, враз, как по команде, залегли. И немцы примолкли, не стреляют. Тишина. Словно совесть их взяла стрелять в форменных самоубийц. А могли, могли перебить всех начисто. Может, ждали, что в плен наши сдадутся?... Не знаю. Факт описываю.

Тут туча чернющая небушко застлала. Тьма адская поле боя накрыла, но дождь не пошел. Тошно ему как бы было разбавлять благословенной небесной своей водицей грешную и несчастную человеческую кровь... Тихо кругом. Ни выстрела, ни голоса. Притомились люди вместе с техникой, и сама собой ночь пришла вскоре.

Зашевелились прилегшие было солдатикки. Грязь зачавкала. Ползком кто куда откатились. Отступили. Спаслись для будущего победного боя.

О Втупякине я и думать даже не стал. Полезное в данный момент войны дело сделал для Родины и для народа, без сожаления и не сомневаясь ни на грош. Потому что он – Втупякин – убийца был истинный, а не я.

Хотел я крикнуть, спасите, мол, братцы, рот побитый раззявил, а крика-то в нем нету ни на единую букву. Хрип какой-то один. Контузия, видать, не простая. Глаза немного ожили, уши слегка отошли, а голос пропал.

Снова ору. Снова один хрип... Ну, и откатились солдатикки без меня, а я в окопчике один рядом с Леней остался. Так-то вот...

Пишу, маршал, по вечерам. Втупякин пьяный дрыхнет в процедурной. До утра продрыхнет, если, конечно, ЧП не случится. Тут всякое бывает. Чаще всех Ленин с молодым Марксом дерутся. Схватят друг друга за грудки и орут, яростно задыхаясь:

– Плевать я хотел на все базисы и надстройки. Я теперь субъективный идеалист, – это Карл Маркс орет, а Ленин взвизгивает:

– Мы все равно придем к победе коммунистического труда.

– Нет. Ни за что не придем.

– А вот и придем, и придем, и придем.

– Даже и думать нечего. Не придем. И так уж дошли до ручки, герр Ильич.

– Ликвидаторская рожа, – надрывается наш Ленин, – догматик и архимерзопакостный ревизионистишка.

– Жаль, Фридриха рядом нет. Мы бы тебя головой твоей в парашу затолкали и на Красной площади выставили ногами кверху, как Гегеля, на всенародное обозрение.

– Мелкобуржуазная образина. Ты – подлец и не выдержал испытания временем. Ты сахар экспроприруешь у меня по ночам. Нонсенс. Скотина. Курсив мой. Посмотри на расстановку сил на мировой арене, хулиган. Мы дружной кучкой вместе с политбюро идем по краю пропасти, крепко взявшись за руки. Из конфликта советской власти и партии с народом-победителем выйдет партия и власть, а народ станет эффективным двигателем истории. С кем вы, господин Маркс?

– С кровавой большевистской мразью и философией вшивоты я – Молодой Маркс – даже какать рядом не сяду. Понял, сковородка картавая?

Тут Ленин прищуривается, ручки потирает, довольный, и пользуется самым подковырочным своим оружием. Ехидно так напевает:

– Карл Маркс украл у Клары Цеткин кораллы, а Кларато Цеткин украла у Карла кларнет... Вот – наша коммунистическая скороговорочка, батенька... Ха-ха-ха... Ты украл у Карлы Клару и кораллы и кларнет.

Это уже драка. Разнимать их приходится. Дадим, бывало, обоим по хребтинам и спать уложим. Тошно нам порою от ихней классовой борьбы, провались они пропадом...

Вот, Ленин опять к перу рвется. Зазудело в нем. Ничего не поделаешь, генсек, кроме как Марксовой истории болезни, нету у нас бумаги, а письма, которых я вам штук сорок уже написал, Втупякин к моей истории подшивает – доктором, сволота, мечтает стать на чужой крови и судьбе, скор-пионище гадкое...

Докладная записка 345/678 рп.

Товарищ генсек, удивлен, что задерживается проведение экспертизы на предмет идентификации проходимца, находящегося в принадлежащем мне (см. пост. ВЦИК от 2.2.1924 г.) мавзолее. Мое заключение в ряде психиатрических домов, эрго, отрыв меня от внутреннего строительства и оперативных задач Коминтерна отрицательно сказываются на расширении сфер влияния советской власти во всем мире.

Ситуации во взрывоопасной Восточной Европе, равно как и на Кубе, Эфиопии, Мозамбике, Анголе, Ливии и Никарагуа, нельзя считать стабильными (sic). Давайте посмотрим правде в глаза: многолетняя компрометация идей социализма и особенно коммунизма практикой существования стран так называемого соцлага требует от нас достижения главной цели – уничтожения старого мирового порядка, новых методов тактики в рамках органически свойственной нашей программе глобальной стратегии и полнейшего политического аморализма.

Объективно детант продвинул наше дело далеко вперед, но посиживание на лаврах – смерти подобно. История не простит нам замораживания наших стратегических классовых активов. Мы обязаны пустить в оборот все завоеванное нами с таким титаническим трудом

и невероятные лишения рабочего класса стран социализма за долгие годы детанта – этого начала конца традиционного политического мышления старого мира.

*В наших руках, благодаря логике истории, оружие неслыханной силы, а именно: скотское желание всех народов без исключения **мирно** (курсив мой. – В.Л.) жить в на части раздираемом противоречиями капиталистическом мире.*

Военное превосходство плюс неослабеваемый шантаж угрозой ядерной войны, наряду с беспринципной борьбой за так наз. Мир во всем мире, с активным подрывом всех экономических, моральных, государственных и прочих структур, изумительно готового к полному уничтожению старого общества, приносят моды на наших глазах. Близок час, когда мы вымоstim полы в сортирах золотом и бриллиантами чистой воды.

Считаю безотлагательным делом (см. июньские тезисы) строительство мемориальной европейской Стены Расстрелов и составление списков вырожденцев, подлежащих казни, партии и народа, начиная с ведущих банкиров (не забудьте цюрихских гномов. Ха-ха-ха-ха. Смех мой. – Вл. ЛУ.) и глав монополий и кончая более мелкой сошкой типа Коррильо, Берлингуэра, Леа Валеты, Барышниковы, Корчного, Солженицына, Рейгана, Максимова, Хейга, Абрама Терца и временно оставшихся в живых битлзов.

Необходимо на все сто процентов использовать пораженческие настроения господ западных либералов левого толка с их дурацкими (относительно нас. Курсив мой. – В. ЛУЛЬ-ЯН) розовыми идеями и декадентствующую интеллигенцию, невыносимо погрязшую в утонченных сексуальных безумствах и наглом наркоманстве.

Существует, однако, опасность забвения предоктябрьского опыта российской истории, приведшего к свержению Царизма и недолговременному установлению диктатуры пролетариата, который диалектически перешел после десятилетий красного террора в диктатуру партии – ума, чести и совести нашей эпохи.

*Необходимо запомнить: никакое кокетство с объективно и субъективно пораженческими кругами не мешает нам выделить для них в ближайшее время небольшой участок Стены Расстрелов, сиречь стенки (примеч. верно. – В. Уль). Возможно, это будут одни из последних расстрелов в предыстории человечества. В коммунизме же, то есть собственно **в истории** (курсив мой. – Вилч.), расстрелы уйдут в далекое и проклятое прошлое, оставшись лишь единственным способом разрешения наших партспоров.*

Если прискорбный и неслыханный акт отлучения меня от дел и более чем полувековое заточение в дурдомах СССР не мешали победоноснейшему шествию идей социализма и коммунизма по земному шару, то это – лучшее доказательство жизнеспособности учения пожилого Маркса, которое всесильно, потому что оно верно, что бы ни болтал господинчик, прикидывающийся нашим Прометеем. Ничтожество.

Привет тов. Андропову – славному ученику Дзержинского, Менжинского, Ягоды, Ежова, Берии и др. – за принципиальное отношение к близоруким шудушкам и прочим внутренним диверсантам.

Необходимо, архинеобходимо для нашей политической мобильности раз и навсегда пресечь разговорчики о пресловутых свободах слова, творчества, совести, перемещений, манифестаций и критики в адрес партруководства – этого коллективного разума нашего времени.

Ваш в. Л-н.

*Прошу управделами Совнаркома выделить мне дополнительно **300** (курсив мой. – В. У.) грамм сахара для стимулирования высшей мозговой деятельности и прекращения мною ряда вынужденных экспроприаций сладенького из тумбочек господ-диссидентов и прочих врагов трудового народа.*

Я – за эксгумирование останков неизвестного солдата с целью нахождения среди них правой ноги тов. Вдовушкина Петра. Во время взятия Зимнего его отец оказал партии ряд неоценимых услуг. Затем был расстрелян за попытку навязать нам дискуссию о социальном перерождении парт-элиты. Трилогия тов. Брежнева – архинтересная книжен-ция. До этого генсека в нашей литературе даже меньшевика не было, не то что ликвидатора. Просто – глыба. Матерый человечеще. Скиньте, к чертовой бабушке, господина Достоевского – этого трупопоклонника – с фронта библиотеки, заслуженно носящей мое имя, и присобачьте туда, батеньки, бюст нашего партийного писателя №1. Рекомендую присвоить Л. И. Б-У звание вождя современного литпроцесса. (См. мою работу «Беспартийная мразь в литературе и очередные задачи красного террора в связи с его расширением в особо важных регионах мира».)

Ваши Ичълиулъгъян.

Весьма удивлен, что тов. Брежнев въехал в Париж во время своего визита во Францию не на броневике, который я, кажется, предоставил к услугам партии и народа, а черт знает на чем, чуть ли не на «кадиллаке». Нонсенс, товарищи.

Ваши Чичъ Нинел.

Бросьте все средства на усиление конфронтации арабских стран с Израилем – этим уродливым порождением бундовщины и гадкой исторической плантацией опиума для народа. Не забывайте, что все абсолютно источники нефти станут главным фактором организации всемирного экономкризиса, который позволит взять нам власть в свои руки в основных кап-странах мира.

Пора уже сказать нефтяным шейхам всех мастей: шагом марш из-под дивана... И дайте же мне, наконец, свидание с Наденькой, имманентно необходимое нашей сощячейке с 1924 года.

Ваши Владимилъгъчло.

Долго больно писал наш Ленин, генсек. Зря вы его держите тут без экспертизы. Очень зря. Видно ведь, что умный человек и говорит занятно. Может, верно, что если бы он лежал в мавзолее, а не какой-то другой хмырь полуболотный, то давно бы уже всем войнам пришел конец, несправедливости, капиталистам, забастовкам в Польше, танцплощадкам и прочему старому миру. Кто знает? Так зачем Втупякин, гаденыш, издевается над самым настоящим Ильичем? Он что сказал, пьяная харя, третьего дня?

– Выдь-ка, Ильич сраный, Ленин затруханный, на балкон из моего кабинета. Хватит тебе тут прищуриваться и жилетку несуществующую большими пальцами растопыривать. Выдь!

Но Ленин-то наш не будь дураком отвечает:

– С детства боюсь высоты, эрго: на балкончик не выйду, батенька. Сыграйте мне лучше сонату, после которой хочется умыть руки и гладить по головкам.

– Вот я тебя, змей, и подловил, – обрадовался Втупякин, – никакой ты не Ленин, потому что Ленин с балкона балеринки Кшесинской выступал, речугу кидал народу и, заметь, не блеванул на него сверху вниз ни разу. Эрго: не Владимир ты Ильич Ульянов-Ленин, а мерзавец и симулянт, растративший миллион казенных рупчиков в Сочи, Ялте, Вильнюсе, Москве и Тбилиси, а теперь голову морочишь здесь ответственной психиатрии – науке нового типа, грудью вставшей на защиту советской власти от дружков твоих по палате. Мы вам, обезьянам, вернем человеческий облик. Что ты, что Маркс – одна сволота. Марш под душ Шарко.

Но Ленин наш, как всегда, в слезы, но руку вперед выбрасывает с форсом эдаким комиссарским и на весь дурдом орет:

– Мы придем к победе коммунистического труда! Мавзолей – не купе бронепоезда! Вон из мавзолея симпатичного грузина! Капитал растратил не я, а Маркс...

Если вы там у себя в Кремле считаете, что в мавзолее настоящий лежит, а не туфтовый Ильич, то чего же вы этого не расстреляете? Почему отпечатки пальцев не делаете нашему

по его же просьбе? Разве он стал бы просить сравнивать свои пальцы, если бы не чуял, что он – эрзац-Ленин? Нет. Никогда... Или взять меня, маршал.

Почему я требую вырыть – можно втайне от простых людей доброй воли, чтоб не расстраивались они, – останки друга моего Лени и среди них опознать мою личную правую ногу? Потому что она там и негде ей больше быть, кроме как там, с Ленею вместе. Вырой ты ее, и сразу тогда станет ясно, что не Вдовушкин стал неизвестным солдатом, а Байкин Леонид Ильич, чью фамилию ношу с 1941 года ровно в четыре часа. Киев бомбили, нам объявили, что начала-ся война... Моя там нога. А иначе разве стал бы я заваривать такую неприятную для всех кашу? Я по совести желаю и по чести. Неужели же легче измываться тут надо мною, лекарств венгерских и восточногерманских изводить на меня целую кучу, электротоком трясти, на ветер его пуская, кормить, лекции про «Малую землю» читать и санитаров держать с тигриными рылами, чем на пару только минут вырвать из земли мою оторванную ногу, анализы взять костей и портянки, сравнить, одним словом, и сомнений не осталось бы насчет того, кто есть кто. И все. И никто передо мною виноват не будет, а буду виноват перед всем миром один я за укрывательство своего имени, измену отечеству и переломанную тем самым судьбу... Подумайте...

Лежу я, значит, маршал, в окопчике, Леню по чистому, холодному уже лбу глажу... А боль вдруг засадила в культе, притекла, зараза, хоть вой, как собака, непонятно кому жалуюсь. Мочи моей нет, ровно не кровь течет от культы к мозгам через сердце и обратно, а боль, густая такая, свер-бежная боль.

Нет, думаю, от боли я помирать не желаю. От раны – пожалуйста, а с болью я свыкнусь. Нам к боли не привыкать. В НКВД, было дело, два месяца держали – шили попытку вымачивания картошки перед посевной с целью убийства урожая для голода в Москве. Картошку дурак пьяный из рабочего класса, дубина райкомовская – Втупякин, приказал вымачивать, ускорять по-большевистски цикл роста упрямых растений, а меня за него день и ночь колошматили, признаваться велели подобру-поздорову. Втупякин сам и пытал меня со своим дружкой из НКВД вместе... Бывало, в общем, и телу и душе побольней, чем в окопчике. Выдюжил. Выгнали. Прямо с печи с ребрами сломанными в поле погнали остатки картошки той изуродованной убирать... Втупякину же, слух пошел, расстрел вышел сверху...

Не желаю от боли помереть. Сильней я боли. Ползу из окопчика, благо, луна выглянула на чуток, и офицера немецкого различаю совсем рядышком... Ползу к нему в надежде и мольбе... Шмонаю ранец офицерский. Про боль забыл враз... В ранце фляжка, жратва, медицина всякая, трофейных орденов Ленина целая куча – на зубы золотые родственникам в Берлине...

Отступаю на исходный рубеж. Боль снова забрала вдруг, да так, что в беспамятство пару раз погружался... Ничего. Дополз с Божьей помощью.

– Леня, – говорю, – как бы мы сейчас с тобой гужа-нулись, может, в последний раз перед новым, смертельным для нас боем. Смотри, друг. Вот коньяк, он не водка, конечно, клопами отдает, но закосеть можно. Вот колбаса наша любительская, врагом завоеванная, хлеб есть, Ленечка, сыр, масло, яйца, смотри, как запасся офицерик несчастный, словно к бабе в гости шел, а не на военную операцию. Отбили-таки мы у него кровную жратву нашу. Отбили, но с большими потерями, Леня...

Погиб мой дружок, помалкивает. Но Душа его поблизости находится, чую я это замечательно и поминаю вместе с нею Леню, друга моего фронтового, печально и светло поминаю, жахаю коньяк из горла.

Стихает боль. Слабо, но стихает... Ни звездочки на черном небе, ни звука на поле боя, лишь сердце стучит жарко, боль тупо топчется в жалкой культе... Один я, поистине один во всем мире, растерзанный проклятым военным железом, рваными его кусками...

А зачем я, думаю, растерзан? За что ногу я свою потерял? За то, что лобызались два бандюги, а потом тот, который поумней и позадиристей, приделал к носу тухлую морковку скотине несусветной – Сталину?... Зачем я нахожусь в данный момент истории своей Родины не на кровати двуспальной рядом с женой желанной, с красавицей моей розовой после баньки, сам – чистый и сильный, а в углублении валяюсь могильном, разве что не закопан только, и нет мне помощи ни от врагов, ни от своих? Зачем?... Что же они – проклятые эти политики и вожди в игры нас свои кровавые замешивают, сами в подземельях с бабами и дружками посиживают, по картам смотрят поля боев, а мы тут отдуваемся, по пояс в землю вбитые с оторванными руками, ногами и головами. При чем здесь мы?... По какому такому закону жизни?...

Глотнул еще маленько – мозги прочистить от заковы-рочных вопросов. Да, говорю, Леня, видать, имеется суровый и глупый закон, по которому вожди проклятушие (почему ихним батькам вовремя дверью в амбаре женилки не прищемило?) – кашу вожди кровавую заваривают, а нам – беднягам – ее положено расхлебывать от века... На то мы, Леня, и солдаты, защитники. И если бы не мы, то кто за нас землю нашу невинную защищать будет? Вожди? Они, Леня, обдрищутся пять раз со страха и захнычут: «Дорогие братья и сестры». К нам, к народу, обратятся за спасением, и мы их, гадов, спасти вынуждены вместе с Родиной, потому что в Родину несчастную они все, как клещи, вцепились, особенно Сталин, и их уже никак от нее не оторвешь. А если бы можно было оторвать, то я бы, видит Бог, поначалу, до открытия военных действий, оторвал бы их, выкинул к чертям на необитаемый остров, и пушай они там с Жульверном фантазируют, суки. Вожди – они, Леня ты мой бедный, на погибель и большую беду нам дадены, а вот мы вручены им на ихнее паразитство и спасение. Тут уж ничего не поделаешь... Судьба это наша, а главное – грехи наши тяжкие, как бабка говаривала, Царство ей Небесное... Повезло-таки старухе: перед самой войной померла... Вот мы лежим тут с тобой, колбасу любительскую у врага отбив, а также сыр и яйца крутые, и трофей взяв – коньяк, и на нас, Леня, вся тяжесть сейчас. Выдюжить надо во что бы то ни стало. Сначала фюрера – глистопера усатенького к ногтю приделаем, а потом, может, и за друга его возьмемся, чтобы запел он да кучу в кальсоны наложил: «Где же ты, моя Сулико?...»

Тут, маршал, хочешь – не верь, засмеялся я, как дурачок, и вдруг потрясло что-то душу мою грешную и бедную, веселье жизни ее, по всей видимости, потрясло, и запел я ни с того ни с сего, пьяный, разумеется, был: «синенький скромный платочек падал с опущенных плеч... 22 июня ровно в четыре часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война... порой ночной мы расставались с тобой... чувствую рядом с тобой... чувствую рядом любящим взглядом ты постоянно со мной...»

Конечно, маршал, в песне про бабу говорится и как уходить от нее ночной порой неохота, но на самом, конечно, деле песня эта про Родину, и не то что «широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек, я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек...», а с душой, по правде сердца и без всякой враки комиссарской. Не знаю, кому до войны вольно дышалось. Небось, только падле усатой и своре евонных молотовых, калининых и кагановичей, а нам даже в колхозе вольно дышалось, лишь запершись в нужнике собственном... Ну, это ладно...

Пою, ожил голос контуженный, горланю во все горло, слезы текут прямо в рот, рыло стянуло грязью подсохшей, горе и боль разрывают все нутро, но что-то неудержимо поднимает душу мою из этого окопчика, страшно даже, чудесно даже, пою, однако, и пою, и внятно жаль мне Леню, и небо чернеющее, и себя-калеку, и Нюшку, Настеньку, Анастасию – жену молодую, непробованную как следует – двух дней не дал пожить Втупякин, военком проклятый, и гораздо больше, чем всех, жизнь мне вообще жаль, всю жизнь, что мы люди, сволочи, делаем с нею, во что мы поле превратили, зачем хлеб несжатый с костями смешали мы, с кровью, с плотью, с землей, зачем синенький скромный платочек, Господи, прости и помилуй, падал

с опущенных плеч... строчит пулеметчик за синий платочек... идет война народная, священная война-а-а...

И что это? Слышу вдруг солдатское наше «ура», да такое богатырское, что, будь я врагом, в тот миг непременно об-дристался бы от ужаса.

Во тьме кромешной, в ночи, когда вроде бы сами фрицы умаялись вусмерть воевать, когда вроде бы судьбой самой выделено милостиво времечка маленько для передыху, поднялись солдаты и поперли, и чую я, что не Втупякин их гонит с тылу дулом в спины, а по личному почину «ура-а-а!» горланят и прут на врага уже неостановимо, потому что не дурак солдат «уракат» далеко от вражеской позиции.

Поздно было клевавшему носом фрицу-фашисту гоношиться. Поздно. Я и на слух понял, как там дело обернулось. Посочувствовал, грешен, немцу, ибо не могу злорадство-ваться, когда даже врагу моему штык в пузо втыкают до кишок самых и изо рта его такой звук возникает смертный, что зверь содрогнуться может, не то что живой человек. А если не один десяток людей хрипит, стонет и крикает, попав на штык?... Но и не лезь за чужим добром, скотина, сам виноват, небось в ранце у тебя наша колбаска валялась любительская, а не я за твоими сосисками с капустой поперся в Баварию... хрипи здесь, гад, в последнем покаянии и вине твоей передо мной.

Отыгрались, чую, солдаты наши за прошедшие в отступлениях и смертях страшные дни... «За Родину-у! Ура-а-а!» «За Сталина» чтобы орали солдаты – не слышать. Если б не комиссары, солдат про эту рябую, разбойную рожу вообще бы на войне позабыл к чертовой матери...

Я, конечно, ору им вслед: «Братцы-ы-ы... братцы-ы-ы...» Молчок. Ни ответа, ни привета. Вдогонку бросаться за ними на последней ноге – не было во мне, маршал, такого героизма, виноват... Бог с вами, думаю, валяйте, раз прорвали окружение, я для вас – верная обуза, ярмо на шее, веревки на руках, сам выкрутиться из лап смерти мосластой попробую...

Солнце тут вышло. Заря. А от нее совсем поле боя чертовой багровой жутью застлало. Все багровое – пушки, трупы, танки брошенные, рожь полегшая. Земля, развороченная и выпотрошенная как бы до самого нутра, кровью истекает бесполезной... Из культи сразу боль в душу мою поднялась, один я – живая личность – на поле боя кровавом, и потом вдруг пришибло меня от стыда и позора.

Смотрю из окопчика на небо, на поле – и краснею, маршал, перед Всевидящим, как пацан перед батькой, нашкодивши чего-то. Краснею, взгляда Его не выдерживаю и чую, что наделали мы, люди, опять такого зла ужасного, опять наделали такого зла, непонятно, ради чего наделали и как это вообще могло произойти, что только краснеть остается и возжелать сей миг сквозь землю истерзанную провалиться, лишь бы не видеть дел рук наших, непосильных для уразумения. Наверно, если б вторую ногу оторвало мне тогда миной, то легче бы было во сто крат: понес бы я наказание, точно зная, за что несу его, и, может, душа не скулила бы так безысходно... Вот как дело было на земле, а что такое Малая земля, я не понимаю. Скорей всего – луна, где жизни нет, одни оспины каменные, как на роже у Сталина... Но – ладно...

И вот со светом замечаю поблизости знакомую мне, родную вернее, ногу в сапоге, раскуроченном взрывом. Добрый был сапог.

– Леня, – говорю, – сапог мой – вона.

Совсем тогда рехнулся, позабыв, что Леня не откликнется, сколько его ни аукай.

Хлебнул еще для душка из фляги, пополз, долго полз, вер-таюсь с ногой своей несчастной в руке. Все думаю, жить пора продолжать, других дел больше нету, слава Тебе, Господи, отвоевался парень, что-то его дальше, болезного, ждет?...

Не знаю, как уж тогда башка моя скумекала, что надо махнуть с Леней документишками – солдатскими книжками. Он ведь был один на белом свете, сирота, и у меня, кроме Нюшки оставленной, тоже никого не было. Только вот биография моя, как говорится, тянула

меня, ровно камень под воду. Отец с большевиками в чем-то не столкнулся, учуял зверя, над народом нависшего, хоть и сам был большевиком поначалу, в Кронштадте заварушку устроил, ну, ленинцы-сталинцы его и кокнули.

В школе, сами знаете, маршал, понимаете, жизни мне не было, травили, в техникум даже не взяли, не то что в вуз, а я ведь учиться ужасно хотел, голова была на плечах неплохая, толк бы вышел из меня. Не понимала этого дура зловредная – советская власть... В пастухах ходи, вражеский выблядок, яблочко от яблоньки недалеко упало...

Нюшку я за что полюбил навек? Выйти она за меня не побоялась. На всех харкнула с комсомолом вместе, с активистами, стенгазетами и прочей бодягой... Вот какая баба была, маршал.

Бес, конечно, тогда меня попутал, потому что понял, зараза, что совестливый человек на поле боя и перед Господом Богом глаза потупив стоит, грехам своим ужасаясь и людскому общему злодейству. Вот и надо его, следовательно, или, как Ленин наш выражается, – «эрго», под монастырь подвести. И подвел, гад такой. Что ему стоит?

Я и взял размокший Ленин документишко, карточку сорвал. Свой же засунул ему за пазуху. А бес, как сейчас помню, нашептывает: двух зайцев сразу, дубина, убиваешь, советской власти пяточок пороссячий к носопырке приделываешь, и Леня будет у тебя вечно живой, вроде Ленина. Что с того, что Вдовушкина как фамилию ты похоронишь? Сам-то ты ковылять будешь по белу свету, хоть и на одной ноге. Леня же большое спасибо скажет тебе на том свете за живучесть имени своего... знаешь, сколько людей в петлю враз полезло бы, если б пообещали им, что имена ихние переживут надолго их самих после смерти, и не сумлевайся, Петя, Ленею будь...

Я и стал. Вот как было дело в натуральном виде, маршал, я и слова не соврал...

Простился с Леней, вернее уже с Петей, с ногою своей простился, портянку, правда, прихватил, чего добру зря пропадать, а так пол-России скоро, судя по всему, немец отхватит сталинской роже благодаря...

Присыпал окопчик землею. Могилку как положено соорудил. Каску свою положил на нее, а Ленину на себя надел поверх пилотки. Изнутри касок фамилии наши были выписаны.

Помянул затем друга. До гроба, говорю, теперь тебя не забуду, милый мой, прощай, прости, извини, может, так лучше для живого человека при варварской власти будет? Царство тебе Небесное и моей правой ногой тоже, куда же ей теперь направляться, не в ад же кромешный? Прихвати, будь любезен, Леня, и ее заодно с собою...

Еще раз помянул. Огляделся по сторонам, чтобы место это не запомнить. Ужаснулся вновь тому, что люди с землею натворили и с самими собою, и пополз в низинку костью какой-нибудь из сука сообразить... Бой тем временем в стороне где-то идет...

Выжил, одним словом, чудом выбравшись из окружения и самой смерти мосластой еще раз хрена с отворотом показав.

Гангрена, по-моему, начиналась у меня. Думал – все, хана, лучше бы прихватило тебя тогда вместе с Леней, хоть рядышком лежали бы до Страшного Суда...

Собака спасла меня, маршал. Такая же жалкая, бездомная, голодная и затравленная тварь, как я сам... Отмочил я тряпки кровавые, загноившиеся от культуры, в речушке чистой, смотреть боюсь на то, что от ноги моей правой осталось...

Вдруг собака подходит. Хвостом весьма печально виляет. Обнюхивает осторожно и тщательно. Не немец ли? Убеждается собака, что русский человек пропадает тут ни за грош, и просто так, ровно форменная медсестричка какая-нибудь Машка, Танюшка, Нинка, Тамарка, Катька, Царство им Небесное всем, – принимается собака без долгих рассуждений, выпол-

няя, так сказать, служебный свой долг, зализывать культю мою саднящую и внешне ужасную до отвращения и страха.

Шерсть на благородной псине в репьях, в грязище, брюхо подведено под хребтину от голодухи.

– Машка, – говорю, – накормлю я тебя сейчас, не бойсь, ежели выживу – скорей подохну, чем брошу, верь

Пете, верь Лене. Леня я теперь, Машка, Леня, Леонид Ильич Байкин.

А она хвостом ободранным повиливает, глазами, как доктор из-под очков, поглядывает на меня и зализывать культю не перестает.

Чем бы, думаю, накормить мне Машку? Тащусь в лесок, потрепанный боями. Нога подгибается, башка кружится, подташнивает от слабости, но тащусь. Не для себя же, в конце концов, стараюсь, а для собаки голодной. Машка за мной робко тянется, поскуливает от тоски собачьей, припугнула чертова война не на шутку тварь Божью...

В лесочке же ни вдоха живого ни на ветвях, ни под кустиками.

– Выходи, – говорю, – барсуки-суслики, из бомбоубе жищ, пожертвуйте собой ради человека и собаки. Галки, вороны, сороки, куропатки, куда вы запропастились все?... Тихо. Только комарики позуживают, на нервы, как самолеты ты, действуют... Беда... Война... Смерть кругом... В двух гнездах упавших птенцы полуголые, дохлые лежат, и глаза их ние приоткрыты, как у людей, посиневшими веками... Тошно было птенцов предлагать Машке, да она и сама есть их не стала, только обнюхала издали и вздохнула от тоски так, что сердце у меня ко всему прочему закололо... Что делать, как Ленин наш говорит, когда ему жрать охота... Брусника, ежевика и малина в зарослях – не для Машки еда... Хоть возвращайся в мясорубку на поле боя и носи собаке кусок человечины, елки зеленые... Это я так от безвыходности подумал и от тоски. Были такие собаки в войну, что бесстрашно околачивались около трупов, в ранцах солдатских и офицерских жратву отыскивали, но Машка была иного рода личность. Она войну по-человечески переживала... Погибла она на моих глазах от этого... Что делать? Знал бы, что встречу ее, придержал бы колбаски и сыра с булочкой...

Но если Ленин при таких обстоятельствах в уныние впадает и не знает, что делать, то Машка распорядилась умнейшим образом. Села, нос кверху вытянула, облизывается и меня приглашает взглянуть туда же.

Там чуть не на макушке высоченной сосны сова сидела, дрыхла себе, как всегда в дневное время... Не она ли над полем ржаным этой ночью носилась? Лишнего страха нагоняла, стерва.

Снимаю из-за спины винтовочку свою. Помехой она, конечно, была для меня, но и без винтовки на безобразии можно нарваться при встрече с нашими... Где твоё боевое оружие, дезертирская харя?... Такой у вас разговор был, маршал, с несчастным солдатом, прорвавшимся окружение. А вы его в расход пускали за потерю винтовки, чтобы другим неповадно было по приказу Сталина...

Снимаю винтовочку, а сил вскинуть ее, как некогда, словно пушинку, прицелься немцу прямо между рог, нету, чую, таких сил в слабых мандражащих руках... Кровушка-то потеряна, душа от горя и страха истомилась в лоскуток, и коленка единственная подгибается, да еще приходится, чтобы не завалиться на глазах у Машки, равновесие придерживать, опершись о дрыну, из орешины вырезанную.

Сажусь на пенек... Не промахнись, Петя, то есть Леня, не то слетит сова и подохнет с голоду подруга твоя фронтовая – Машка... Тяжесть в винтовочке, как в болванке стальной, дрожат руки, глаз слезится, взрывом пораженный, но стреляю в бешенстве от своего бессилия, мать его, маршал, разъети... Фу ты, Господи, падает в траву сова, даже крылья от неожиданности не успев растопырить. Сова, конечно, не гусь и не курица. Тошно было ее ощипывать и потрошить, но пришлось и через это в жизни пройти... Всего я в ней, честно говоря, ожидал, но чтоб ощипывать сову?... И по пьянке в голову не влазила такая муть...

Костер сообразили. Чего уж жрать сырое свиное мясо порядочной собаке? Припалил я его как следует... Жрет благодарно. Пошикиваю, чтоб не давилась от безудержной жадности... И сам вдруг слюнки пускаю. Поделись, говорю, Машка, жизнь и во мне надо срочно поддерживать. Подносит в зубах. Я и заплакал от жалкости нашей и полной невинности в происходящей с людьми и землей нашей подлости, а также от ярости на двух немыслимых вождей.

Вот, говорю, Машка, Сталин нам перед выборами говорил, что до коммунизма рукой подать, что расцветут скоро в пупках наших сытых вечные фикусы, а мы не работать в основном будем, а петь, плясать, мечтать и помогать другим закабаленным народам всего мира, чтобы и им как можно скорей дойти до нашего чудесного состояния... Но что мы видим вместо фикусов в пупках? Видимо, мы петь еще вроде бы можем, а плясать... на руках будем, дай только с фашистом сладить... Свиным мясом сонной ночной птицы обернулся нам с тобою, Машка, коммунизм рябой отвратительной хари, приятного тебе аппетита, сестрица...

Зря, думаю, ты собачью порцию, Петя-Леня, отполовинил. Все одно подышать тебе от гангрены антоновой. Генералы и то от нее подышают как миленькие, а ты и подавно загнешься. Мог бы и в чистом виде помереть, странным на вкус мясом не оскверненный... Мало я верил в спасение, плоха больно культя моя была, очень плоха...

Но вот день один проходит, потом второй, третий, Машка сама время процедур чуяла, неделя проходит, позуживает приятно культя моя, выглядит гораздо приличней, жара нет во всем теле, опухоль с колени спала, а еще дней через десять стал я, ровно в детстве, по-пацански корочки с раны заживающей отколупывать... Кость, главное, затянуло рваной моей кожей...

Машка, говорю, ты ведь не собака, а хирург первого класса, Бурденко четырехлапая, век тебя не забуду, жизнь тебе постараюсь, несмотря на тяжелое положение Родины и народа, справиться и письмо, пожалуй, накаатаю Сулико – вонючей мандавошке, чтобы собак на фронте не под танки бросали, толку от этого все равно никакого нет, только Ворошилову тупому лишний орден Ленина повесят, а чтобы вас в медсестры пристроили на крайний гангренозный случай... Спасибо, дай поцелую тебя в бедный нос, псина... Залилась тут Машка откровенно радостным лаем, а я замурлыкал, как всегда: «синенький скромный платочек...»

Вы, маршал, не смущайтесь, что я прерываюсь иногда. Черти – Маркс и Ленин – к бумаге рвутся, в считалочку играют, кому первому писать: «Троцкий, Сталин и Гондон сели все в один вагон и поехали в Тифлис разводить там сифилис. Раз, два, три – это будешь ты...»

Сейчас Марксу повезло, а я пойду покурю, отдохну, время три часа ночи, тоска на душе мрачная, но и надежда ее не покидает, что установите вы в конце концов истину военного времени и дадите человеку побыть хоть немного самим собой, завтра перейду к заключительной половине моего темного дела... поскольку выговорился и реже плачу от каменного невнимания к моим правдивейшим заявлениям. Не плачу, но и не пою. Сил нету петь. Допелся суслик...

1917-му КОМИНТЕРНУ

Не ирония ли это, товарищи, что я вынужден драться за каждый листок своей истории болезни, повторяющейся дважды: первый раз как трагедия, второй – как нелепый фарс? Только провонявшие насквозь жигулевским пивом и советскими сосисками бургеры не понимают причины перерождения в СССР святой коммунистической доктрины в окостенелую структуру праздного существования партийной, военной и жандармской элиты и охрану ее от недоумения народа. Если написание «Капитала» было трагедией, то перевод этого труда на русский язык, который я начал было успешно изучать, является несомненным фарсом. Если бы перевод назывался не «Капитал», а «Состояние», что соответствует психофизиологическому восприятию капитала вообще не быдловым, а аристократическим сознанием русского человека, то развитие пресловутого движения за освобождение рабочего класса России, безусловно, пошло бы другим путем. Чистые и романтические принципы молодого Маркса мерзкая личность герра Ульянова ухитрилась вывалить в кровавом дерьме настолько, что

их реабилитация представляется мне при самых оптимистических прогнозах делом второго цикла человеческой истории... Состояние в себе, как таковое, безусловно, первичнее капитала – для нас. В чем глубочайший смысл польских событий? В гангрене власти, в дошедшем до очевидной ручки противоречия интересов власти посредственных тупиц и нравственных дегенератов с интересами широких трудящихся масс. Тем более в последнее время рабочему классу стало ясно, что ни о каком превращении труда в капитал не может быть и речи, если объективированный труд не инъектируется калорийными продуктами питания. Иными словами, для того чтобы произвести прибавочную стоимость, пролетарий должен есть мясо, масло, молоко и прочие продукты сельского хозяйства. Ничтожный недоучка, безграмотный философ и некультурный параноик Ленин просит Коминтерн признать вторичность продуктов питания в классовой борьбе с перенесением главного акцента внимания партии на вопросы идеологии. Нет. В организме человека базисом являются господин Желудок и мадам Печень, а надстройками – идеология, инстинкты труда и осознанная необходимость искусства. Поэтому: пролетарии так называемых соцстран, соединяйтесь в поддержке общенародных интересов рабочего класса Польши, Господин Улья...

Лаврентий Эдмундович

*Не пора ли прекратить эту заразную игру в меньшевистские бирюльки с молодым Марксом? Никаких послаблений. Ни в коем случае не гладить по головкам этих господ, не выдержавших испытание временем. Только бить, бить и бить. В этом залог нашей победы над легальным младомарксизмом... И перестаньте вы, батенька, закупать у империалистов хлеб для нашего рабочего класса. Неужели вам не ясно, что разрушение объективно кризисной ситуации внутри всего социалистического лагеря не в ублажении желудков разувверившихся в нашем деле двурушников, а в активном развитии хаотических моментов экономики Запада и Японии, а также в поддержке любого **терроризма** (курсив мой. – В. Уле.), дестабилизирующего и без того разболтанную структуру капообщества, в импортировании наркотиков, во всяческом развитии обольняющей пролетариев все стран культуры, в провоцировании роста преступности и расовых конфликтов, эрго – расшатывании оснований прогнившего общества насилия и эксплуатации.*

Нам необходимо перенять у поповщины практику перехода на постную пищу вплоть до аскезы перед революционными праздниками. Причем количество этих праздников необходимо увеличить вдвое и даже втрое. Постные дни, недели и месяцы существенно укрепят наши стратегические наступательные силы. Почему мы продолжаем отдавать народ – эту движущую силу истории – на откуп поповщине? Или всенародный пост спасет советскую власть, или недостаток мяса, масла и зерна ее погубит. Все на борьбу с аппетитом, который, по словам великого Демокрита, приходит необходимо во время еды. Прошу срочно переименовать «Правду». «На боевом посту» – лучшее название для данного истмомента.

Ох, батенька, не нравятся мне эти польские настроень-ица.

Поздравьте Хафеза Амина с приходом к власти после Та-раки-какаки (смех мой. – Вли-уль.). Очень симпатичный афганец. Просто – глыба. Матерый человечиче.

Правда ли, что Москва наводнена бандами ходоков, разбазаривающих продукты рабочего класса столицы? Всех – под трибунал. Чем меньше ходоков, тем меньше едоков. Неужели вы забыли простую арифметику классовой борьбы, товарищи? А главное, санитары регулярно бьют меня по головке, по головке, по головке, по рукам, по ногам, по настоящему, по мудрому, по человечьему, по ленинскому огромному лбу. Иногда хочется все бросить к чертовой матери и лечь на свое место. Но мы дотянем, мы дотянем до конца предыстории человечества. Основное – наполнять наркотиками западный мир. Пусть пребывает под наркозом, пока мы удаляем из человечества раковую опухоль частного предпринимательства – этого мощного тормоза на пути к коммунизму. Не забывайте, что до Него социализм – это учет

недовольных и инакомыслящих с последующей изоляцией их от общества. Дайте, наконец, санкцию на ликвидацию Маркса. Ваши Лени л... Бросьте...

Беда, генсек, с этими твоими деятелями. Фридриха и Сулико – однодельцев ихних – только здесь не хватает...

Маркс до чего дошел? Пасту зубную из пяти тюбиков выжал, в кружке развел чайком и хлобыстнул, не крикнув даже.

– Кайф, – говорит, – очень сейчас хочется не переделывать мир, а объединять и тискать алкоголический манифест. Ну, а если уж переделывать мир, картавая сковородка, то не твоими грязными руками, а, по крайней мере, силами социал-демократов и прочих партий народного благоденствия и защиты традиционной морали. Чего ты, как хорек, возненавидел весь мир, если у тебя братца ухлопали? За дело ведь повесили, а не просто за калмыцкий глаз, на царя ведь, сволочь, руку поднял, а не на какого-нибудь поганого инструкторишку райкома твоей дегенеративной, фантомальной партии... Об этом ли мечтали мы ночами с Фридрихом. Какое счастье, что он не дожид до такого невыносимого позорища. О, если бы можно было начать все сначала, пошли бы мы с ним вместе совсем другим путем. Где моя молодость? – Вот тут, маршал, начинается главная катавасия. Мы за животы с диссидентами и с Колумбом от смеха хватаемся, только Самосов сидит и как бы продукты людям отпускает. Мания величия у него застарелая: директором Елисеевского гастронома в Москве себя воображает. А я думаю так: если бы он на самом деле был директором, то и сидел бы в данный момент у себя в кабинете, а не на казенной коечке, как и я. Потому что если бы я был натурально Байкиным Леной, то я в земле сырой находился бы, и надо мной огонь негасимый горел бы синим пламенем с розовым венчиком, и вдовы безутешные лили бы слезы по сгинувшим без вести мужикам, и матери старые-престарые, выплакавшиеся до душевного доньшка, устилали бы мое каменное надгробие ромашками и колокольчиками... Ну а Ленину если верить, то когда бы выполняла партия все его мысли и мечты, то капитализма не было бы уже на всей планете и люди сытые и свободные гладили бы друг друга по головкам, работая исключительно по желанию и беря в открытых распределителях все, что душе твоей коммунистической угодно, вплоть до птичьего молока. А на каждом столбе висели бы чучела бывших банкиров, зав. корпорациями, монополиями, чучела Картера, Рейгана, Садата, Сахарова, Солженицына и прочих менее значительных врагов коммунизма, вроде перебежчиков балерунов и шахматистов.

И лилась бы, не смолкая по ночам, нечеловеческая музыка советских композиторов из громкоговорителей и с тех же столбов. Сам же он – Ленин – лежал бы на своем законном месте, где сейчас враги и перерожденцы незаконно распластали труп проходимца какого-то, скорее всего, по прикидкам Ленина, палача и сволочи гнусной Ежова Николай Иваныча, потому что пропал он в тридцать восьмом году бесследно и нигде, кроме как в мавзолее, не мог по распоряжению Сталина расположиться...

И у Маркса молодого – одна и та же песенка. Капитал надо понимать как состояние, и тогда не будет никакого в мире бардака и власти бескультурных динозавров, вроде тебя и твоих дружков, маршал. Мне эти слова непонятны, ибо я не имел никогда ни капитала, ни состояния.

Одним словом, с обоими не соскучишься. Вот я пишу сейчас, а они сцепились вновь. Теперь Ленин в ответ вопиет:

– Ты приставал к Наденьке на Пражской конференции! Дело о твоих педерастских отношениях с Фридрихом было первым делом нашей партии, но его скрыли от проле тариев всех стран. Нонсенс... Ты продался, подлец, социалдемократам за чечевичную похлебку... Ты ведешь из-под койки провокационные радиопередачи в предательскую Польшу, чтобы прокля-

тые забастовщики – враги партии и власти – вспомнили про прибавочную стоимость и права пролетариев. Прибавочная стоимость, батенька, кончилась, с вашего позволения, в 1917 году, в октябре месяце по старому и отныне вся до копейки идет на развертывание народно-освободительных движений во всем мире и на дальнейшее насильственное расширение сфер нашего влияния. Я тебя теперь глушить буду, и плевали мы – большевики – на заключительные акты, мудро подписанные нами в марионеточной Финляндии... Ву-у-у-у-вы-ы-ы-ы-ввв-а-ав-ав-ав.

А Маркс наш запрещенным приемом пользуется. Тихо так и вежливо заявляет:

– Нет, никогда мы, конечно, не придем к победе коммунистического труда. Жамэ, месье Ульянкинд.

– Придем. Придем. Придем. – Кулачонками Ленин по тумбочке забил и ножками засучил очень нервно. Жаль даже человека. Лицо у него в такие минуты становится больно несчастным и пацанским. А я думаю, что это за зараза такая в головах у того и у другого с поражением всех остальных первоначальностей души? Что это за напасть такая дьявольская, что из-за нее ни нам, русским, ни полякам, ни евреям даже и афганцам житья нету вот уж седьмой десяток лет? На кой хрен нам все это надо? Почему кормят нас насильно мерзопакостью этой, как диссидентов в голодовку, если мы уже из души выbleвали и социализм и коммунизм, а желудки, животы наши такой тухлой требухой не прокормишь...

Опять драка. Маркс – тот посильней и помоложе. Пригибает голову, промеж колен зажимает ее и «селедок» с отяжкой выдает Ильичу по жопе сохлой. Крик. Шум. Втупякин пьяный из процедурной приперся. Гной в бесстыжих глазенках... В карцер обоих... Чудом меня со стыренной историей болезни не засекли. Думать страшно, что тогда было бы... Страшно... А зачем шуметь из-за идейных разногласий? Не надо. У нас тут не то что на воле – думай в любом плане и в любом разрезе, но режима не нарушай. Раз есть такое право – не шуми, хотя это право из нас разной нечистью в таблетках и шоками...

Вот человек, сосед мой по койке, Степанов Ваня. Что ему Втупякин толкует? Пока, толкует, не поверишь, сволочь, что советские профсоюзы – школа коммунизма, а польские – махрового капитализма, не выйдешь отседова, сгниешь с потерей диссидентской своей личности и обретением новой – хорошей, любящей партию, правительство наше родное, КГБ и ВЦСПС. Такие мрази, как ты, Польшу от нашего лагеря отторгают пятый раз за всю историю этого блядского государства, норвящего укусить мать-Россию в щедрую грудь. Брюхо свое шопены и мицкевичи всякие выше социализма ставят... Понял, гад народа, медицинскую мою истину? ...

Что же это такое, генсек? Все мы правды, только лишь правды добиваемся здесь. Я – чтоб самим собой перед смертью стать. Ленин – чтоб его заместо ежовского чучела в мавзолей, можно сказать, личный вернули. Карла желает от души Гегеля своего с головы на ноги опять поставить, потому что они тогда с Энгельсом погорячились и промазали слегка. Гегель-то, оказывается, на ногах стоял, и перекантывывать его вовсе не следовало.

Или Степанов. Справедливо человек чешет, что нету у нас никакой диктатуры пролетариата, что раб он, загнанный до скотства за шестьдесят лет, и что все вы там в Кремле и на периферии в обкомах и райкомах – кучка сумасшедших туподрынов, изолгавшихся и заплесневевших в крепостях, охраняющих вас от народного взгляда. Разве ж не так, генсек?...

Или взять Гринштейна. Самолично книгу сочинил человек и в ней доказывает, что конституция наша – самая справедливая как бы в мире – нарушается на каждом шагу. Факты у него в руках, а не трепня. Он же и тычет вам вашей конституцией в носопыркалки и вежливо просит выполнять ее – и ничего больше. Не прав он, что ли? Человек сам книгу сочинил от большой души, болеющей за твою же советскую, по глупости, власть, а его – в дурдом, тогда как вы сами наболтали всем давно известную историю про войну бригадушке шабашников продажных и премию за это отхапали внаглую с золотым оружием. Думаете, Ленин не раскрылся нам за сто грамм конфет «Вперед», как оно дело было, как политбюровская шобла целую неделю

обрабатывала беспрецедентно своего скромного и простого Ильича, пока не дал он согласие на премию вам в сто тыщ? Вы ведь самого Сулико в этом деле за пояс заткнули. Тот уж на что охамел в сосиску, а премий Сталинских себе не присваивал, воздерживался, стеснялся, видать, народа и Черчилля с Трумэнном.

Это у вас, генсек, мания величия и преследования, если вы Степановых, Гринштейнов и меня с Карлой в дурдом упрятали. Ну, Колумб – хрен с ним, спятил действительно человек, доказывает, что он Америку открыл, но сообщить об этом в Москву, в ЦК не мог, так как тогда не было еще телеграфа... И Ленин, на что идиотик, а прав, что если бы вы его захоронили, несчастного, по-настоящему, на все века вперед, то не было бы в стране у нас никакого бардака в тяжелой промышленности и в сельском хозяйстве... Ну ладно. С вами насчет этих дел болтать, что гороха нажраться – в брюхе бурчит, а правды нигде не добиться. Вот как...

В общем, захоронил я тогда Леню и ногу свою правую. Как плакал над ними – один Бог, небось, слышал... Салют, помню, дал из винтовочки, хотя внимание привлекал вражеское. Плевать на вас, думаю, нельзя хоронить солдата и друга без воинской почести... Прощайте, дорогие, вечная вам память, вечная вам слава за все хорошее, что сделали вы для меня лично и для Родины нашей, попавшей под два ярма – большевистское и фюреровское. Могилки вашей век не забуду, не быть ей без цветочков, без яичка на Пасху и булочки белой в Родительский день. Клянуся...

Собаку, кстати, что жизнь мне спасла, а главное – вторую ногу, я тоже не забыл. При госпитале Машка кормилась. Променял я ради спасения живой твари верность своей Нюшке, Настеньке, Анастасии, променял. Врачиха одна пожалела из-за меня собаку.

Я ведь очень красивый мужик был. Очень. И неиспорченный, не то, что ты, маршал, самолетных проводниц, Маркс рассказывал, невинности в тамбуре прямо лишаешь. А я красивый был и благородный. Охочий до баб, не калека ведь, но не жадный. Так, на шашлык лишь бы, как говорят, посадить никогда не старался. Я все больше из жалости да из уважения имел бабенок. О любви что говорить? Была любовь и сплыла... Тут плачу... не могу... плачу... кружочками слезы свои обвожу... прости, маршал, на «ты» давай, ничего с собой поделать не могу, аминазин не помогает... плачу... все загубил... славу Ленькину и свою заодно... Нюшки-ну, Настасьи, Анастасии моей любовь... все... не успокоюсь, пока Гегеля, как говорится, на ноги не поставлю с головы нынешней... плачу...

Вот и охраняла из-за меня врачиха Машку и, разумеется, прикармливала. Раненые некоторые, калеки, до того обозлены были на весь белый свет, что костылямиогревали иногда ни с того ни с сего бедную собаку и сестрам нервы выматывали.

Одним словом, вмазалась в меня врачиха. У самой, как говорится, одна нога была короче, другая деревянная была, но лицом – ангел. Натуральный ангел.

Вижу, личность мою возжелала весьма, но млеет лишь неуверенно, трубочкой чаще, чем надо, грудь мою прослушивает, контузией, говорит, шибануло ваш организм, Леонид. Массаж груди самолично совершает. Дышит с придыханием, волосы эдак скидывает с форсом, вмазалась, одним словом.

Ну, поговорил с ней сначала о собаке, а потом в кабинете стали запирались в ночные врачихины дежурства. Я и сам ожил немного от войны адской, хоть из-за измены жене своей сердечно терзался. Разрывается просто сердце от вины и тоски...

Немца меж тем от Москвы отогнали еще дальше. Деревню нашу освободили. И вот тут первый раз схватил меня страх и сожаление, что изолгался я донельзя. Но ведь Нюшку вызывать, пояснить ей все в открытую, она же поймет, что с моей фамилией дороги никуда нету, но только в тюрьму, что Сталин, как разделается со своим лучшим другом, так еще больше озверевает и за недосаженных примется, в чем я не ошибся, между прочим.

Пишу письмо в сельсовет свой хитроватое. Так, мол, и так, друг я Вдовушкина фронтовой, который Петр из вашего сельсовета. Потерялись мы в окружении, сам я ранен и теперь

без одной ноги с контузией всего организма, имею кое-что передать жене его Анастасии, ответьте, жду...

А врачиха притормозила меня в госпитале, хотя я уже прилично оклемался, рыло разъел от гостинцев своей полюбовницы, ничего, думаю, война это, Нюшка, не обижайся, я, может, мужика таким образом для семьи нашей спасаю, чтоб не зафлиртовать окончательно, так как дистрофиком из окружения вышел, случайный кусок хлеба или картошку Машке-спасительнице отдавал, иначе околела бы она.

Жалею врачиху. Девушкой она до меня была, думала, что по хромоте и общей некрасивости фигуры так и не пройдет во век в дамки. Но вот прошла же... Это я к тому, что надежды никогда терять не надо...

– Любишь, – спрашивает меня, – Ленечка милый?...

– Как тебе, – отвечаю, – сказать? Скорей всего, временно симпатизирую с уважением и фронтовой лаской.

Плачет врачиха, но целует меня до потери сознания, спасибо, говорит, за правду, Ленечка, спасибо и за то, что ты есть у меня на войне среди горя, крови, подлости, мужества и безумия... Все, поверь, счастье мое в тебе, и жизнь без тебя я второю жизнью считать буду, добавочной, умирать соберусь когда – за одного тебя спасибо Богу скажу, если Он есть...

Естественно, попала врачиха моя. Доложила по глупости и честности начальству. Но и рада была до остервенения. Есть, шепчет мне, Бог, есть, если посреди исторической скверны, в костоломке и воплях растерзанной народной плоти, в слезах наших и бесконечной униженности зачинаем мы с тобою, Леня, новую жизнь... Леонида Леонидыча тебе рожу и ни словом не упрекну в вечной разлуке, радость моя случайная...

Ну а Втупякин, начгоспиталя, аборт велит врачихе – имя я ее тоже позабыл от контуженой памяти – срочно и беззастенчиво делать любыми средствами. Расстрелом грозит, гад... Она – ни в какую. Здесь, говорит, рожу, на рабочем месте, и на все меня хватит: на войну и на дитя любимого человека. Война, говорит, не отменила жизни, а лишь изуродовала ее... как и советская власть...

Последние слова, правда, она исключительно мне говорила, в обнимку, в холодном врачебном своем кабинете, любя меня, жеребца беспардонного, всею душою...

Давит Втупякин и на меня, и на нее по-фашистски, с человеческим смыслом случая не желая считаться. Из себя выходит. Кишку у падлы защемило оттого, что счастлива баба, а мужик у ней очень красив даже в безногом виде. Не Гитлер у него, у сволочи, враг теперь, а бабенка и раненый солдат, не служебные заботы насчет бинтов и ваты его одолевают, но ненависть какая-то глухая к тому, что к жизни имеет касательство... Уймись, говорю, товарищ Втупякин, Сталину все известно насчет фронтовых подруг, и не давал он приказа новое поколение людей в абортах ликвидировать. За аборт нынче из жопы ноги выдирают у тех, кто на них подталкивает. Понял? И не будь вредителем материнства в нашей стране...

Отстал немного, на комиссии меня задержал, но спасала меня от них врачиха с анализами, хоть Втупякин до пены в зубах крысиных доказывал мое моральное разложение и что я здоров как бугай...

И вот тут-то телеграмма, что странно в военное время, приходит мне из сельсовета. Вот какая ужасная телеграмма:

ОТВЕТ СООБЩАЕМ ВДОВУШКИН ПЕТР СМЕРТЬЮ ХРАБРЫХ СОГЛАСНО ПОХОРОНКИ ВДОВУШКИНА АНАСТАСИЯ ПОГИБЛА ЭШЕЛОНЕ ПЕРЕВОЗКИ СКОТА ГОРОД ПОБЕДА НАМИ ПРЕДСЕЛЬСОВЕТА/ПОЛЯКОВА.

Читаю телеграмму и валюсь на пол в корчах и истерике, бьюсь головою обо что попало, подохнуть желаю на месте, и нету снова в глазах моих света, а в ушах звука – контузия вернулась... Связали... Лежу где-то в тишине и в темноте, не помер ли, прикидываю. Очень уж похоже на смерть, как бабка Анфиса обрисовывала. А она раз пять за свою жизнь поми-

рала от всяких бед и болезней. Очень похоже на смерть: болит то ли тело, то ли душа, а кругом ничего не слышно и не видно... Потом руки врачихины почуял... Если б не они, может, и загас бы я тогда от тягчайшего горя, словно свечка на печальном сквозняке... От рук врачихиных, как вода в горло, жизнь в меня тогда возвращалась. Оживало все в нутре и снаружи... Но как руки-ноги обмороженные свербят невыносимо при отогреве, так и душа ныла от возвращаемой жизни. Невтерпеж...

Голос вернулся вновь, а в глазах забрезжило, звуки до ушей донеслись.

– Ковырни, говорю, пока не поздно. Я от тебя не отстану, проблядь уродливая, – Втупякин это давить продолжал на мою врачиху.

– Аборта делать не буду. Хватит и без него смерти вокруг. Ясно? – это она ответила. Заскрежетал я зубами на Втупякина. Встать, на его счастье, не смог...

Подходит тут она ко мне и радуется, что не бессмысленный у меня вид... Вечером в кабинете спирту она из загашника достала, налила мне, пей, говорит, Леня, что ж теперь делать? Война, родимый...

Ударил меня пьянь в голову, зло взяло, показалось, что возрадовалась врачиха такому повороту судьбы с Нюшкиной гибелью и что я, следовательно, теперь в руки к ней перехожу со всеми потрохами. Куда ж мне деваться?

Ну, я и психанул, сорвал зло на невинном человеке, как это всегда бывает у оборотов вроде меня, сорвал... Много бы сейчас отдал, чтобы не было тогда хамства этого с моей стороны... Я что, подлец, заявил, хоть и понимал, что сам тому не верю? Ты, говорю, не лыбься. Думаешь, теперь я твой навек, если вдовым остался? Выкуси вот и снова закуси. На чужом горюшке счастья не выстроишь, врачиха... А ты прости меня, Нюшка, Настасья, Анастасия, прости блуд прифронтной и бессердечную измену супруга своего – подлеца высшей меры, кобеля проклятого... Что ты, говорю, уставилась на меня, ровно давно не видала? И не гляди в мой адрес, яду мне налей, чтоб заснул я и во сне отдал концы, жить не хочу, кончилась сила жизни... Я тебя не люблю, а так встречаюсь, в шутку...

Ни слова в упрек не сказала врачиха, но побелела лицом и отстранилась от меня душой. Почуял я тот холодок, спьяну отмахнулся от раздумий и еще стакан чистого врезал, родил именно в тот раз в себе алкоголика. Это точно. И поплыл, повеселел – море по колено, горябеды не видать, синенький скромный платочек падал с опущенных плеч, чувствую рядом любящим взглядом ты постоянно со мной...

Уснул в слезах и слюнях... Больше мы с ней никогда не спали. Она не желала, а я не настаивал. Не тем душа была занята, маршал, не то что у тебя с телефонистками и шифровальщицами...

Что же делает тогда Втупякин? Поначалу меня, сатана сущая, выписывает и в колхоз направляет вместе с Машкой. Протез, говорит, почтой тебе пришлю, кобель. Протеза калеке не дал, враг и палач народа, дождаться. Чем он лучше Гитлера? Того хоть сожгли – и нет его. А ведь этого пакостника, эту мразь, ничем не изведешь.

Простились с врачихой по-хорошему, писать, говорю, тебе буду. Не пиши, отвечает. У меня у одной на все сил хватит, а любить, слава Богу и тебе, есть кого. Только бы родить. Леня... прощай, не спивайся, спасибо тебе... прощай...

И тебе спасибо за меня и собаку... Такой у нас разговор был...

Документишко мне чистый выправили, жратвы на дорогу дали, врачиха четвертинку напоследок в карман сунула, и направился я в один обком за направлением. Хотелось мне поближе к Лениной могилке. Для своей деревни я теперь умер, погиб как бы смертью храбрых. Решил новую жизнь начать, как говорится, с погоста... О ней немного погода, маршал.

Пишу из колхоза письмо дружку по палате. Ему все, кроме руки левой, оторвало и мотню задело. Приезжай, пишу, плюнь на свою бабу, раз она от тебя такого отказалась. Значит, сука она, так и так, и все равно скурвилась бы от тебя впоследствии, будь ты хоть с двумя парами

рук и ног и с запасной женилкой. Приезжай, друг, баб тут у меня под рукою – тыща, найдем порядочную и неприхотливую, будь уверен. Тут такие имеются вдовы, что им лишь запах наш мужеский необходим, а на остальное начхать... И как там врачаха моя? И что с ней и с ребеночком в животе? Ответ, друг, я перед нею виноват душою... Пишу другу, а сам от общей сиротливости плачу, как вот сейчас, и кляксы все обвожу кружочками и обвожу...

Ответ вскоре приходит в треугольничке... Слушай, маршал, и сотрапезникам своим передай, может, обомрут они от немислимого, от того, от чего сейчас гирями мне в затылок колотит и глаза затягивает гарью...

Вот что совершил Втупякин. Он бить стал врачаху мою в кабинете. Бил сапожищами по брюху, по животу живому, палач, плода человеческого не жалея нисколько.

Волосы у дружка моего аж дыбом стали – так слезно молила врачаха Втупякина остановиться и одуматься, неужели же нет в нем ничего душевного и сердечного, ведь звери даже не позволяют руку свою поднять на мать и дитя... Но где там!...

– Я, – орет дьяволина, – двух своих выбил так вот точ но из своей бабы на случай развода, чтоб алиментов не пла тить, а твоего изведу непременно, потому что ко всему про чему, по науке, он безногий должен родиться... На фронте кадров не хватает врачебных, сука кривобокая, туда же ле зет с любовью, нам дети прямые нужны, я тебе покажу лю бовь, шалава грешная...

Все это дружок мой слушал и другие калеки тоже, да что ж они могли поделать без рук, без ног и все лежачие?

Конечно, и выкинула врачаха моя тою же ночью... Беда... Седая вся враз сделалась. А может, и с ума сошла. Долго ли, маршал, с ума сойти от такого зверства?

Подходит на другой день к Втупякину, обход был, и говорит:

– Фашизм надо уничтожить на фронте и в тылу. Смерть фашизму.

«ТТ» твердо держит врачаха моя в ненавидящей и справедливой руке. Втупякин в ножки ей бросается. Исключившись весь от плюгавого страха:

– Помилуй... еще десять родишь... что с того... ради фронта я исключительно... я тебе и сам всегда могу... не сумлевайся... не стреляй... под расстрел угодишь... жить, что ли, надоело?

– Фашист ты советский, мразь на нашу голову и проклятье за грех братоубийства и бунта... Смерть тебе, падаль, – говорит врачаха моя. Всю обойму всадила в Втупякина, чтобы на пять пуль он поскулил и помучился, осознавая зверство собственное, чтобы от шестой подход под «ура-а-а!» солдатское, седьмую пулю в сердце себе выстрелила... Вот и все, маршал, по этому пункту... Слезы даже течь перестали. Вытекли они полностью. Но уж что-то, а слезы заново опять наберутся... и Ленин, как оглашенный, ручку рвет, мыслей поднабрал... не терпится ему выговориться...

СРЕДНЕФЕВРАЛЬСКИЕ ТЕТРАДИ

«Считаю, что работа, проведенная нашими спецорганами по расколу общественного мнения планеты, близится к закономерному концу.

Мы – неискоренимые диалектики. Наш прямой философский долг – поощрение всяческого расцвета либеральных движений вне страны, особенно в развитых до абсурда странах Общего рынка, и уничтожение, сиречь сведение на нет, последних внутри соцлага. Польша, Монголия, Никарагуа.

Господа либералы, а не мировой пролетариат, заевшийся на капхарчах, являются в данный истмомент повивальной бабкой мирового хаоса.

Они едва ли не единственная наша надежда в борьбе с активными силами сопротивления коммунизму, связывающая им (силам, прим. верно. – ВУ) руки различной тепленькой чепуховиной и архирелигиозным отношением к политической морали. Какая, спрашивается, может быть мораль в том грязном аду, в котором вы вынуждены жить до его радикальной переделки?

Всячески поощряйте тех, кто по своей имманентной тупости оказывает сопротивление не нам – уму, чести и совести эпохи, – а своим основным институтам и законным правительствам. А также тем индивидам, которые безошибочно чувствуют, чем чревато для них и их традиционных ценностей завоевание СССР (читай – КПСС, прим. мое. – УЛВ) мирового господства.

Поскольку дело это исторически решенное, необходимо уже сейчас разработать ГОЭЛРО.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ОТЛОВ ЭЛЕМЕНТОВ ЛИБЕРАЛИЗМА РЕВ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Только младенец, связанный пуповиной с махизмом, не понимает, что после установления полнейшей, железной диктатуры партии над диктатурой пролетариата и прочей люмпен-шумерой основным ее врагом диалектически становится тот самый господин-либерал, с чьей помощью мы деморализовали силы сопротивления хаосу и коммунизму сначала в России, затем во всем мире. В господине либерале после перенесения исторических катаклизмов, кровавой бани и полного крушения всех слюнтяйских розовых иллюзий, к сожалению, просыпается чувство политической, нравственной и прочих реальностей, что необходимо мешает всей нашей благородной работе по освобождению человека от власти эксплуататоров и переделке грязного ада в светлое будущее.

Всемерно поощряйте западных либералов, особенно левого толка, к разваливанию гнилых структур их родных обществ.

Советская власть – это инвентаризация инакомыслящих и учет либералов с их последующим уничтожением, если не физически, то политически, – и никаких сентиментальных нюней и нюнешек.

Грудью вставайте на защиту партийности в литературе и в искусстве. Немедленно поставьте наших местных либералов в каторжные и даже в скотские условия существования под знаком кнута и пряника.

Нет в мире права выше прав большевиков переделывать мир. Поэтому морите господ-правозащитников, как клопов.

Неужели, разделившись беспощадно с десятками троцких, сотней бухаринных и рыночных, а также с тысячей различных ищиков феферов, партия и ее славные органы не в состоянии физически (курсив мой. – Лувлич) обуздать одного физика-психопата из лагеря разочаровавшихся в нас и сообразивших наконец, как мы ловко облапошили их, либералишек? Он, очевидно, забыл, что электрон практически неисчерпаем?

Вперед к мировому хаосу. Предлагаю присвоить ему имя Маркса и Энгельса.

Какой мерзкой скотиной оказался Хафез Амин. Передайте мой пламенный привет Бабраку Кармалю. Это же глыба. Матерый человечеще.

Немедленно начинайте демонстрацию военной мощи на границах так называемой Польши. Как могло случиться, что пролетариат этой издревле русской провинции начал поднимать голову? Бить надо по ней серпом, товарищи, добывать молотом, а не садиться за стол переговоров с предателями интересов мирового пролетариата, стонущего под игмом Фордов, Филипсов, Круппов, Арманов Хамеров и прочих беспринципных вырожденцев человечества.

Кстати, не мешало бы, не откладывая дела в долгий ящик, уже сейчас позаботиться о том, чтобы ликвидация господ либералов во Франции и Голландии, где они будут со време-

нем представлять для нас весьма опасную – ввиду крушения амбиций и всплеск мелкобуржуазных обид – силу, была поручена товарищам Вьшинскому и Дзержинскому. Относительно приговоров у меня с ЦК не предвидится никаких разногласий.

Почему бы товарищу Буденному не подумать на досуге об использовании сексуальной революции в наших целях? Хватит отдавать ее на откуп монополиям. Порнография – не последнее оружие в борьбе народов за прогресс мирового хаоса. Что думает по этому поводу товарищ Пономарев? Он помнит, что мне регулярно недодают фосфора, сахара и делают все, чтобы я, потирая ручки, не засмеялся, довольный?

Шав Нинел. 18 термидора 1980 года еще не нашей эры...

Мы тут, маршал, на днях подлечили немного Втупякина вместе с молодым Марксом. Потому что тот окончательно вдруг оборзел. Когда въехал ты на танке в Афганистан, у Втупякина прямо праздник был на вонючей душонке. Ликовал. Прыгал от радости, сволочь. Еще, говорит, одних мазуриков к рукам прибрали. Скоро на глобусе места для нас не хватит. Всех к ногтю приберем, вылечим капстраны от шизофренической любви к наживе.

Палату нашу вдруг уплотнил, прохода не оставил. Руки потирает, довольный. И так похваляется:

– Есть прогноз с верхов, что Сахарова к нам сюда подкинут. Палки чтоб в колеса танкам нашим не вставлял в Афганистане и политбюро не дразнил инакомыслием. Собой, сволочь, пытается подменить ум, честь и совесть нашей эпохи. Но я ему подмену. Я ему гипоталамус от мозжечка отсоединю, вражеской морде... Я ему встану поперек дороги национально-освободительного движения... Я его манию величия превращу в любовь к Родине и КПСС, забудет, что академик, навек. Аппендикс совести народной и подлец из подлецов... Если застану кого за разговорчиками с негодяем от науки, то не жалуйтесь потом – я вас коллективно под шок отправлю и так потрясу, что зубы выпадать начнут...

Как тебе это, маршал хренов, нравится?

Решетку в соседней палате покрасил заново Втупякин и намордник на окно надел. Боялся, видать, что толпы народные демонстрацию устроят перед дурдомом... Завтра, говорит, привезу сюда в рубашке врага империи нашей, который водородной бомбы секрет продал китайцам за три пачки цейлонского чая. Прижгу я ему нейрончики, прижгу, чернила из авто ручки пить станет... Я ему докажу, лысой бестии, что шизофрения – заразное заболевание, передающееся через мысли на расстоянии... Как дважды два ясно мне это. Отсюда и первая стадия такого шизо – инакомыслие... Откуда ему еще браться? Неоткуда.

– Архигениально, – завопил Ильич. – Нобелевку тебе вручим, товарищ. Ленинку на сберкнижку положим. Ма терый ты наш человечиче. – А сам на шею внезапно кида ется Втупякину и целует его в обе щеки, целует взасос, так что Втупякин только мычит от ужаса и к дверям пятится, и вдруг как заревет на весь дурдом «мы-ы-ы-ы-ы-rrr».

Санитары прибежали, оттащили Ильича, под дых как дали ему. Он и провалялся в отключке целые сутки, только постанывает:

– Зарезервируйте, товарищ Цюрупа, мой продрацион до конца эссерского мятежа в Черемушках.

Ну, мы ждем, разумеется, когда привезут к нам честного гражданина Сахарова. Сигарет для него выделили. Молодой Маркс кусок колбасы докторской под кровать засунул. Плачет целый день и слова говорит, я тебе еще передам их, генсек – главный врач сумасшедший нашей страны... Ждем...

Втупякин в костюме новом ходит и без халата, чтобы значок был виден «Отличник госбезопасности» и ордена с медалями прочими. Ручки, повторяю, потирает, довольный. Ленина привязать велел на три дня к коечке.

– Я тебе, стервец, покажу, как лобызаться с медперсоналом клиники.

– Да здравствует советская психиатрия, – орет в ответ Ильич, – самая квазигуманнейшая в мире во главе с товарищем Втупякиным. Дружно подсыпем аминазина в продукты польским товарищам – этой змее на груди социализма... Ура-а-а...

А Маркс, вроде меня, все плачет и плачет и Фридриха на свиданку зовет, Гегеля почему-то проклинает и философию нищеты критикует.

Но тут узнаем мы, что ты, маршал, велел Сахарова в город Горький выпереть ровно в четыре часа. Втупякин аж почернел от злобы. Тебя самого лечить, говорит, надо от страха перед мировым общественным мнением, от фобии, порожденной американскими сенаторами... Тебя-то он чех-востит почем зря, а всю злобу на нас, несчастных, срывает. Зверствует просто. Чай приказал холодный выдавать и ноги по-йоговски за шею закладывать. Неслыханная зверюга. Очень он, гаденыш, надеялся на всемирную славу, если б Сахаров в руки ему попал. Бахвалился нам, что через неделю алфавит академик забудет и имя вредной своей жены Елены, а тут ты его, маршал-писатель, здорово подкузьмил, в натуральную величину, можно сказать, уши заячьи зама-стырил паскуднику человекообразному.

Ворвался ни с того ни с сего в палату с санитарями, раскидал всех в разные стороны, веревками побил, сигареты растоптал, свиданку с женой запретил молодому Марксу.

Маркс говорит мне:

– Слушай внимательно, движущая сила истории, я тебе сейчас идею подкину, она тобой овладеет и станет материальной силой, но не в смысле прибавки пенсии, а вот как. Я тут истолок аминазина и пертубанитромукодозалончика в порошок. Ты завтра подкинь его в пиво Втупякину. Только впритырку. Когда мы его маневром увлечем из кабинета. Понял?

– Не сомневайся, – говорю, – парень. Пора Втупяки-на с головы на ноги перекантовать, иммунизировать чудовище в ранней стадии.

Вызывает меня Втупякин на следующий день про родственников вспомнить и мои отношения со светилом-Луной. Поскольку выяснилось, что при ущербном месяце я как-то странно мочусь и с задумчивым видом. И Втупякин приказал в полнолуние сосуд ко мне висячий на ночь привязывать.

В общем, сижу у него, толкую всякую чушь от скуки про Луну, а он пишет и зубами скрежещет:

– Вы у меня, сволочи, попляшете от моей диссертации.

По трупам пройду в член-корреспонденты, гады ползучие!

Вдруг слышу грохот, треск, звон стекла и громоподобный голос молодого Маркса:

– Я тебя, падаль картавая, на свалку истории коопти рую! Ради балеринки Кшесинской позорную заварушку устроил в Питере. Развратник! Скотоложец! Ты лошадь от бил у Буденного!... Мразь брюменерская!...

Втупякин туда сразу помчался, ремень на ходу снимая. Он очень любил им нас поколошматить. Только бы повод был и без повода, например, на выборы в Верховный Совет СССР.

Помчался он на шум, лиходей, а я ему в бутылку открытую-недопитую порошок кидаю и размешиваю до приличной пены. Пива Втупякин ужас сколько потреблял, а мочиться, что удивительно, никогда не мочился. В нем пиво в печени сразу в желчь превращалось и разливалось в мозгах. Поэтому он таким бешеным стал.

– Немедленно сообщите товарищу Дзержинскому, чтобы он выделил отрядик для ареста карлика-маразматика, – визжит Ильич, и только слышно, как порет его Втупякин ремнем: вжик-вжик по коже. Потом за Маркса взялся, а диссиденты орут:

– За каждую царапину отчитаешься, садист.

– Рожа твоя всю мировую печать обойдет, свинья двурога.

За стекло, грозитя Втупякин, вычесьт денежки из капитала Марковского. Тот действительно хотел выкинуть Ильича на помойку. Хорошо, что не порезал вождя нашего. Попало обоим.

Приходит Втупякин в кабинет весь потный, и пахнет от него нехорошо. Дожирает пиво из горла. За стол садится и снижает постепенно. Носом клюет, сигаретой меня угощает, чего никогда раньше не случалось, – в общем, на глазах зверь в приблизительного человека воплощается.

– Иди, – говорит, – на сегодня хватит. Скажи Марк су и Ленину, что погорячился я слегка. И чтоб порядок был во вверенном мне помещении. Не то всех цианистым кали ем выведу, как антинародную моль. Пошел вон...

Целых три дня ходил спокойный Втупякин, про Сахарова совсем позабыл. Палату нашу опять разуплотнил, но больше я ему химии в пиво не подсыпал. Маркс решил, что хорошего понемножку... Вот какие дела, а Сахаров все равно поумней вашинского политбюро и скоро вместо Косыгина сядет. Тогда, может, и колбаски вдоволь пожует...

Вот еще одного голубчика подбросили нам новенького. Койку в проходе поставили. Этот блаженный думает, что обезьяна он шимпанзовая.

– Неужто не видите, – говорит, – как я на ветке баобаба сижу, насекомых ищущу? А сейчас банан лопаю. А-а-ак. Глядите, макаки, самка моя чешет ко мне с водопоя. Врублю я ей сейчас в тенечке...

– С этим все ясно, – говорит диссидент Гринштейн, – у него ярко выраженный синдром политбюро: нервно принимает желаемое за действительное с последующей ненавистью к демистификаторам.

А Обезьяна что делает? Онанизмом, маршал, на глазах у нас с большим настроением занимается, нисколько не стесняясь даже Втупякина. Он лишь лыбится и подшучивает:

– Руку менять не забывай, с ветки, смотри, не сорвись. А Ленин, который сам по этому делу хороший специа лист, протестует:

– В дни, когда весь мир радостно ожидает суда над американскими заложниками, архипаскудно откатываться в нашу обезьянью предысторию. стыдно, товарищ Обезьяна, стыдно. Надо смирять реакционные желания.

– Помолчи, картавая сковородка, дай человеку кончить, – Маркс вмешивается.

– Карл Маркс украл у Клары Цеткин кораллы, а Клара украла у Карла Маркса кларнет, – возражает ехидно Ильич.

– Нет, не придем мы к победе коммунистического труда, – говорит Карла.

– Придем. Придем. Вот и товарищ главврач подтвердит.

– Это не за горами. Придем. Таблетки только, гады, не сплевывайте. Шоками изведу. Имена свои забудете, – под-тверждает Втупякин.

– М-да-а... Над нашим прахом прольются слезы благодарных людей, – возражает Маркс, и Втупякин, ярясь, грозит ему:

– У тебя в квартире на обыске сочинения молодого Маркса вчера нашли с пометками. Знаем теперь, где нахватался ты этих цитирований, симулянтская харя. Не пройдет этот номер. Не таких подонков раскалывал я здесь, двое Александров Македонских, четверо Маяковских, несчетное количество Микоянов и Молотовых прошло через мои руки, и все фамилии, заметь, на букву «М», так что я и с Марксом какнибудь разберусь. Сволочь, симулянт.

– Убить меня мало, – назло ему сокрушается Карла, – разве можно было русский перевод «Капитала» не назвать «Состоянием»? Неужели советская медицина и психиатрия не исправит этой грубой политической ошибки? Господин Гельмгольц, вы представляете себе наши окрыляющие перспективы?

Диссиденты тут дружно хохочут, я тоже робко улыбаюсь, но в споры не влажу... Не до того. Помог в тот раз из горла у Маркса зубную щетку вытаскивать: Ленин туда ее засунул внезапно. Никто предупредить не успел.

– Я за чистоту наших рядов, – вопит Ленин. – В пасту томатную превратим молодого Маркса.

Подходит санитар – человек без лица, просто никак не удается разглядеть физиономию у этой фигуры. Как так можно без лица?... Шприц всаживает Ленину в руку, следующий укол Марксу. И тишина устанавливается.

Ужин хлипкий несут. Таблетки на ночь. Телик включают: программу «Время» смотреть, ума набираться, международное положение понимать в нужном духе... Я же предпочитаю вздремнуть, чтобы встать посреди ночи и продолжать свои для тебя объяснения, маршал...

Понял ты наконец, что Втупякин с врачихой моей сделал? Понял?...

А в колхоз я следующим образом попал. Заявляюсь в райком партии. Секретарем там, конечно, Втупякин был. Я и не удивился. Сам приучал себя к тому, что иначе не может быть до некоторых удобоваримых времен.

– Ну что, раненый, скажешь? Небось на печи валяться задумал и на лаврах достигнутого почивать? Не выйдет. Председателем идешь в Заветы этого самого Ильича. Понял?... Ты не из самострелов случайно? Есть у меня в районе и такие прохиндеи. Но не дождались они гибели нашей. Все силы – для победы над врагом. Накормим фронт. Каждое зерно – государству, каждое кило мяса – Сталину. Победа будет за нами. Справим на нашей советской улице масленицу и на жидах напляшемся.

– Зачем, – спрашиваю, – на жидах плясать? Их ведь вроде Гитлер изводит зверски.

– Больше нашей партии плясать не на ком чисто исторически. На татарах и чеченах не напляшешься. Популярности у них в нашем народе мало. Лучше пушай на жидах попляшет, чем на нас – на советской власти, которую он, чую я это ежедневно, ненавидит по вредной политической темени... Прислушайся там к нему. На заметку бери. Ежеквартально должен ты как председатель под следствие отдать одного человека.

– За что? – спрашиваю.

– За воровство, саботаж, укрывательство скота, разговорчики, ненависть к Сталину и нашей партии, отказ бурный подписаться на заем и выдать наворованное в фонд победы над врагом.

– Вдруг, – говорю, – преступлений таких не окажется?

Засмеялся Втупякин.

– Так не бывает, чтобы их не оказалось.

– Всех пересажаем – работать кто будет?

– Освобождающихся скоро начну тебе присылать. Все до одного – враги народа.

– Значит, – говорю, – сажаем народ, а выпускаем врагов народа? Как так получается?

Прибыли от этого никакой.

Задумался Втупякин. Даже слюни от натуги мозговой с губы свесились.

– Ты не контуженный случайно? – спрашивает.

– Немного, – говорю, – задело.

– Оно и видно. Тебя самого за сомнения провокационные брать можно... Поехали в «Заветы Ильича»... Почему в те места просишься?

– Воевал я там... Друга как раз возле Прохоровки захоронил...

– Фамилия друга?

– Вдовушкин Петр.

– Знакомое что-то... Поехали в «Заветы», чтоб они на хер были надеты. Одни партизаны собрались там на мою голову...

Приезжаем. Название, конечно, у колхоза, думаю, дерьмо. С таким далеко не уедешь... Собрание созывает Втупякин, видимость колхозной демократии выставляет... Господи. В колхозе-то одни сплошные бабы, маршал. Бабы да пацаны махонькие, от последней ночи, от мобилизации бабами рожденные. И старухи. Старики померли и в партизанах сгнули. От мужиков – ни слуху ни духу. Без вести мужики тогда все до одного пропали. В плену небось, подумалось мне тогда... Беда... Народная, кровавая беда...

– Работать, – говорю, – бабы, будем. Делать больше нечего. Возрождаться надо. Родина голодает. Победим скоро...

Проголосовали за меня бабы. А работать, говорят, не на чем. Ты же, Втупякин, сам всех жеребцов на фронт приказал угнать. Буденный – дурак – под танками угробил их без толку. Кобылы одни остались. Бесятся в течку. От меринов же ленивых жизни ждать не приходится. Трактор нам дай.

– Механизации вплоть до победы над врагом не ждите, бабы. Выписал я вам сюда в подмогу ешак из Ташкента, где жиды от крематория спасаются. В пути ешак, по наряду Совнаркома СССР. Он вам тут понаделает жеребят. Ярый мужик, а не ешак. Всех огуляет. Кобыл только успевай под ставить, – говорит Втупякин... Посмеялись, за что люблю я лично свой народ, маршал.

Самогонкой нас бабы с Втупякиным напоили. Картошки с салом изжарили, вспомнил я горько и сладко, как Нюшка моя около печи гоношила всякую всячину, а я в озорстве похлопывал ее и поглаживал... Вздыхаю от всего сердца, где, говорю, жить буду, бабоньки?

– Сегодня, – отвечает одна, – у меня заночуешь. Я бригадирша. Завтра – у Плеханихи. График полюбовный составлен, чтоб обидно не было.– Хихикают бабы похабно и весело.

– Как так, – говорю, – я не согласен. Что я вам – кобель гулевой, что ли? И не нанимался... Может, я и не могу вовсе от контузии?

– Молчи, Байкин, – говорит Втупякин.– Выполняй волю женской части народа. Не прикидывайся полом, вышедшим из строя. Вон ты ешак какой. Если б не партийная работа, сам остался бы тут. Все мои председатели вдов веселят, поскольку народу много на фронте полегло. Восстанавливать срочно его надо. Приказ Сталина. Воля партии. За невыполнение – к стенке... саботаж... вредительство... гуд бай, дорогуша.

Бабы же прямо по производственному выступали. Жизнь, мол, наша пропадает... Детишков хотим... головы без мужиков кружатся... Низ живота болит... Ужас что снится по ночам... Нервы... И Сталин, оказывается, гнушаться нами не велел до самой победы...

Чтоб, думаю, у этого Сталина по херу на пятке и на лбу выросло, пушай помучается, штиблет шевровый натягивая и фуражку маршальскую на башке пристраивая... Что мне теперь делать?

– Не кочевряжся, председатель. Был женат-то?

– Вдовый я... Погибла баба в бомбежку.

– Вот и помянем ее давай, а заодно и мужиков, которые грудью встали на защиту социалистического отечества – друга всех угнетенных народов и надежды всей Земли. Все – для победы над врагом. Наливай, – говорит Втупякин...

Ну выпили. Патефон бабенка одна завела. Танцевать повела. Топчемся, топчемся под «кукарачу» какую-то. Вальс кружим под «Синенький скромный платочек», но какие танцы с калекой? Одной рукой костыль прижимаю, другой – бабенку. Что делать, думаю?

А делать было нечего. Я мужик не железный, я живой и к бабам жалостливый весьма, через что и потерепел в свой час... Заночевал я у этой танцевальной бабенки.

Лежу с ней, а сам о Нюшке мечтаю... Прощай, жена... будь ты жива – век бы не скурвился... А так... жизнь есть жизнь... И чья это проклятая воля, что разметало всех нас по белу

свету на погибель и муки, на унижение земли нашей и напрасное расточительство молодости? Прости меня, Ньюшка, на том свете... там с этим делом полегче, чем тут, в колхозе, тут жизнь продолжать надо как-никак, прости...

Но разврата, маршал, не было там у нас никакого. Все строго, чинно, по графику и без смехуечков. В правлении график висел. Я ему и соответствовал два-три разочка в неделю и по праздникам большим, типа Первое мая и Седьмое ноября, будь оно неладно... Порядок был определенный в этом деле. Банька, рюмочка-стопочка, разговор по душам, слезы бабы, «Синенький скромный платочек»... ну, идем, милая, не плачь, дура, возрадуемся, раз живы мы, хоть и в беде по самые уши...

Но и имелась у меня бабенка особенная. Когда график ей приспелвал ночевать, она так заявляла:

– Жду я Трошу своего. Поэтому лишь переночуем вместе, поцелуемся, Леня, чтоб жить не страшно было, больно невмоготу без ласки, а кроме этого – ни-ни, ничего у нас с тобой не будет, пожалуйста...

Я и уважал...

Живу в этом смысле, как царь персидский или киноартист Николай Крючков какой-нибудь, вроде Лемешева.

Работаем с утра до ночи. Тыл кормим. Фронт кормим. Сами еле-еле концы с концами сводим.

Тут действительно по наряду Втупякина ешака из Ташкента к нам завезли. Ревучий зверь, упрямый. Намаялись мы с ним. То он кобылку не желает, то она его лягает обоими копытами и куснуть норовит. Откуда, думает, образина такая взялась на мою голову длинноухая и нескладная?...

Ешак, конечно, по глупости природы, мелковатого роста был животное. Пришлось мне мозгами пораскинуть слегка, рационализацию в жизнь провести. Трибуну как бы выстроили мы для ешака. Ну, а дальше он сам соображал, что к чему. Тут большого ума не требуется. Жизнь везде свое берет... А мы с бабами подержались тогда за животики... Жеребчики вскоре от семи кобыл появились у нас. Мулами приказал называть их Втупякин, мне медаль «За трудовые заслуги» самолично вручил на собрании, а через неделю чуть не посадил, сволочь. Дура одна из комсомолок надумала телеграмму послать Сталину, что посвящаем ему всем колхозом в фонд победы над Гитлером тягловое животное новейшего типа – полу-ешак, полулошадь, желаем вам сто лет жизни, дорогой друг, отец и учитель...

Телеграмму, конечно, НКВД перехватило – и на стол Втупякину, а он меня дергает в райком и допрашивает:

– По чьей указке составлялась телеграмма? Что вы этим хотели сказать, мерзавцы? На кого намекаете? Забыли, в какое время живете? Кому, как говорил Ленин, это выгодно? Забыли, что у нас капиталистическое окружение и бдительными надо быть даже в сортире на оправке? Вы здесь только жрете-пьете, а люди на фронте кровь проливают.

Тут эта самая кровь в голову мне ударяет, замахиваюсь костылем, прибил бы гада, но люстра, на мое счастье, помешала. Однако притих Втупякин. Такие звери, как он, очень силу и бесстрашие уважают и с удивлением их порой рассматривают, вроде чуда.

– Ладно, инвалид, садись, водки выпей, закуси и проваливай посевную заканчивать. Как закончите, чтобы телеграфная писательница оформлена была как антисоветчица, и что мечтала по заданию гестапо, куда была завербована в оккупации, испортить настроение товарищу Сталину в разгар контрнаступления на врага. Ясно?... И не возражать. План НКВД – это план всего народа. Не то сам пойдешь туда, где девяносто девять плачут, а один пляшет. Выполняй. Донос чтоб через три дня был вот на этом столе. Скажи спасибо, что не посадил за покушение на мою личность в военное время. Понял?

– Ничего, – говорю, – не понял. Пусть НКВД людей сажает, а мое дело – хлеб сажать да картошку. Не буду писать донесений никаких. Работать и так некому.

– Выполняй, Байкин. Три дня даю сроку. – Кругом а-а-арш.

Созываю баб. Что делать, как говорил Ильич, спрашиваю, бабы? Как быть? Насадил нам в наказание начальничков безумных и осатанелых, что за зараза в них проникла? Неслыханные люди. И зачем ты, Пряжкина Лиза, на свою и на мою головы телеграмму эту проклятую начирикала? Пиши теперь всю правду, как есть, не то хуже будет. Раз пристало НКВД, то ни за что не отстанет, пока не посадит. Миллион, если не больше, таких краснолицых комсомолок уже томится в катажалках. Коммунистов же там – видимо-невидимо. Телеграмму надо отцу с матерью посылать, а не начальству.

– Ладно... хорошо... я подумаю, – говорит Лиза Пряжкина, а сама лицом посерела вся и вообще осунулась... Втупякину дозваниваюсь.

– Осознала, – говорю, – отпусти ты ей грех несознательности молодой, без нее пропадем, ешак никого больше не уважает, и мулят-жеребят любит Лизка всей душой, в конюшне ночует.

– Выполняй, Байкин. НКВД не может простаивать без дела даже во время войны. Раз нету жида для ареста и всякой белогвардейской сволочи, значит, надо сажать своего человека. Он и в лагерях останется советским, несмотря ни на что. Я в этом лично убедился, будучи в органах. Это говорит об объективной силе сталинского учения, мать твою так, ты сам небось из недовольных? – орал в трубку Втупякин. Плюнул я на все со зла. Ничего отвечать не стал. Без толку отвечать этим людям. Да и человеческого-то не осталось в них нисколько, новая какая-то порода, вроде наших полу-ешаков. Только полу-ешаки работать будут на людей и полюбят нас, надеюсь, а Втупякины лишь ревут, глаза кровью налиты, нету для них большего удовольствия, чем засадить невинного человека. От чужого горя, очевидно, понимание в них возникает, что сами они до таких верхов добрались, откуда безнаказанно можно творить беззаконие отвратительное, облизываясь, на людей за решетками гляючи. Подлецы, из говна собачьего в князи попавшие. Господи, ответь: за какие грехи, чтобы легче хоть было немного, чтобы хоть покаяться было ясно за что. Неужели ж такого мы напакостили, что держишь Ты нас в неведении и контузии с потерей звука и света?...

– Живи, – говорю, – Лиза, спокойно, выкинь из головы сомнения, все пройдет. Корми ешачков своих...

Являются через пару недель двое энкэвэдэшников в португепях – сапоги надраены, ровно тут бал у нас, а не всенародное страдание, паразиты окаянные, Лизу арестовали. Обыск произвели в доме у нее и ночевать остались. Там же и ночевали, сытые хари. Выпивал я с ними. Взятку за Лизу обещал крупную – целого поросенка. Ладно, говорят, подумаем. Напились в дребадан. Я ушел. А утром бабы прибегают ко мне: Лиза удавилась. Если б не пистолеты – разорвали бы бабы псов и сожгли бы, как Дубровский в кино, псов этих троюковских там же в доме. Не знаю, как дело было, но ночью слышали соседи, как кричала Лиза. Потом смолкла. Собака ее завyla, за ней другие, и Машка моя туда же, исскулилась вся, спать не дала с похмелья, стерва... Ну пришли бабы к Лизе, смотрят: псарня валяется пьяная в блевотине своей, с жопами голыми, а Лиза в сенцах висит на красненьком шарфике. Изнасилована она, маршал, была... Ну, как? Кто им директивы давал так поступать? Ленин? Сталин? Берия? Микоян? Каганович?

Отбились кое-как от баб, сволочи. Еле ноги унесли, протокола даже составлять не стали о самоубийстве... Лизу же похоронили мы по-христиански, грех на душу взяли, потому что не сама себя порешила она, а изглумились над ней паршивые морды с асмодейскими лицами. Вот тебе и весь марксизм с ленинизмом. Лиза бедная, чего ты там в нем нашла хорошего, что пуще отца с матерью любила, тряпицами красными хари ихние на портретах разукрашивала, песню пела: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек...»

Помянули мы Лизу. Рассоветовал я бабам жалобу Сталину писать. Сам он такой, но вы этих слов не слышали, и выкормыши евонные так же зловредны, подловаты и низки душою. Жаловаться бесполезно, лучше выпьем за победу и чтобы избавил нас Господь от всех паразитов и карателей. Может, доживем до этого, если жить будем стараться, а не унывать. Помянули мы Лизу от души. В следующий раз, думаю, Втупякин-падла, я тебе устрою дело. Я тебя подведу, сука, под монастырь с твоими опричниками, сожгу своими руками и помучаю еще напоследок, чтобы ты признался бабам и мне, как планы вы тут по посадке русского народа выполняете, видимость службы создаете, чтоб на фронт вас, тварей беспардонных, не взяли из НКВД. Ради только этого и стараетесь ведь, гады ползучие. Человека посадите, дело пришьете ему и с мордами занафталиненными в тылу околачиваетесь, пакостничая и в разврате... Совершенно это мне теперь ясно, и знаю я, что за блевотина за вашими красивыми словами... Конечно, устрашили вы нас до скотства, что ни пикнем мы, ни чирикнем, когда вы творите произвол и оскорбление, молчим, ровно тигры в цирке, но не можете вы не согнуться с земли нашей в конце концов, доживу ли до этого – не знаю, но молюсь, чтобы, перед тем как согнуться, не навредили вы ехидно людям последней пакостью, мором и голодом...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.